

R 180.384
3

ეროვნული
ბიბლიოთეკა

МАЯКОВСКИЙ

ДЕТЯТАТ
ЦК РАКОМ
1960

1893

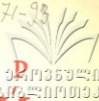


1930



В. И. Маджарский

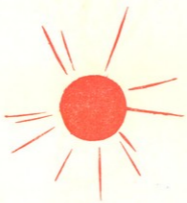
891-71-93



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Р180.384
3



Центральный Комитет
Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи
ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1940 Ленинград



Редакция текста и комментарии
 В. ТРЕНИНА и В. ХАРДЖИЕВА
 Вступительная статья
 ЛЬВА КАСИЛЯ

Ребята! Понравилась ли вам эта книга? Напишите, какие вы видите в ней недостатки, все ли понятно и каковы ваши пожелания.

Укажите свой адрес, имя, фамилию и возраст.

Наш адрес: Москва 12, М. Черкасский пер., д. 1. Детиздат, Массовый отдел.



ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

Мир еще никогда не знал подобного поэта. Начиная с первой строки, написанной Маяковским, все в нем ошеломляло необыкновенной новизной, острой, непривычной силой. Слово, с которым пришел в мировую литературу Владимир Маяковский, и по смыслу и по звучанию своему было необыкновенным, казалось, никогда еще не слышанным. Оно скрежетало, жгло и взрывало.


Он пришел в литературу и заговорил на новом, им открытом языке. Тугоухие сочли его непонятным. А те, кто захотел прислушаться, различили в этом «простом, как мычание», новом поэтическом языке слова грозной и прекрасной мощи, от которой, казалось, начинает шататься мир.

Маяковский стал великим поэтом нашей эпохи.

Эпохи, подобной нашей, советской, также еще не знала история.

На земле еще не было революции такого исполинского размаха, не было социалистического государства, управляемого рабочими и крестьянами, людьми труда. В нашей стране произошли исторические перемены, которые до этого казались многим невозможными. Отсталая страна, страна непроходимой тьмы превратилась в передовое государство, к которому тянутся сердца и мысли всех честных, думающих, смелых людей на земле.

Рассказать об этом в стихах и книгах, выразить в словах величие этой эпохи мог лишь писатель-поэт огромного дарования, большой и точной мысли, поэт-новатор, поэт-изобретатель. Старые литературные формы не могли вместить грандиозное содержание новой эпохи. Нужен был гигантский



непреклонный труд поэта, вдохновенный подвиг его жизни. Требовался голос, который по силе воздействия и новизне отличался бы от всех, когда-либо звучавших в литературе. Нужен был поэт, который не только писал бы о революции, а работал бы для революции, отдавая ей «всю свою звонкую силу поэта», всю кровь своего сердца, веселого и яростного.

Таким поэтом и стал Владимир Владимирович Маяковский.

Еще за несколько лет до революции, чувствуя и предсказывая ее, он пересмотрел старый арсенал словесного оружия, которым владели до него поэты, и понял, что надо «менять литературу», искать новую форму стиха, которая сможет служить грядущим событиям. Его ненависть к прошлому и мечта о будущем не влезали в старые поэтические размеры. Строчка трещала и разламывалась от напора его мыслей, его гнева и предчувствий. Вместе со своими товарищами он придумал новое стихосложение.

И его поэтический голос, его стихи, вооруженные новой техникой, оказались способными рассказать миру о социалистической революции, о борьбе за новые формы человеческого существования. Голос Маяковского стал поэтическим голосом эпохи. Маяковский не только лучший, талантливейший поэт революции — Маяковский сам одно из величайших явлений нашего времени.

Социалистическая революция создала достойного ее поэта совсем особой складки. Поэт-бунтарь, певец огульных разрушений, органически перерос в поэта — провозвестника революционной дисциплины, в борца за основы и утверждение новой, социалистической государственности.

Если бы человеку, никогда не бывавшему на нашей земле, ничего не читавшему о Советской стране, дали прочесть «все сто томов... партийных книжек» Маяковского, такой человек из одних лишь стихов Маяковского мог бы получить достаточно широкое, яркое и верное представление о нашей революции, о нашей стране, о нашем времени. Он бы узнал, как в муках, в огне, в труде и песнях рождался социализм, он бы узнал, как жили, любили, тревожились, побеждали и умирали люди первых десятилетий Октябрьской революции. Он бы узнал, кто мешал людям строить новую жизнь, путался под ногами, тянул в старое... Все наши заветные мысли, наши восторги, боль нашу, веру, ненависть и гордость поведали бы ему книги Маяковского, потому что сам он не был «литературным украшением» своей эпохи, он был не только певцом ее — он стал одним из ее монументальных созданий.



Семья Маяковских (село Багдади, 1900). Маяковский в возрасте семи лет.



Все в нем было ново и необыкновенно. Поэты его жизни его окружали легенды почитателей и следов вистников. Враги твердили, что он никому не понятен, что он думает только о себе и о своей славе, что он толстокожий грубиян, которого не проймешь никакими человеческими чувствами.

Но миллионы читателей, отлично понявших Маяковского на всех языках мира, по-своему рисовали себе исполинский образ поэта.

Вот как представляют себе Маяковского в Америке:

«Рассказывают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронт и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновенные его стихами, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам буквами вышиной в фут. Его плакаты в гражданскую войну были смертельны для врага, как штыки...

Громким, как аэропланнй мотор, голосом он читал по радио свои стихи, и советский народ жадно слушал его во всех концах страны. За его стихами следили, как за самыми серьезными новостями. Сатирические стихи Маяковского заменяли целые санитарные эшелоны и бригады учителей...»

В Испании, где не только читали, но и слышали Маяковского, любят рассказывать, что поэт декламировал свой «Левый марш», стоя на боевом мостике балтийского дредноута, и грозный голос его, покрывавший орудийные залпы, слышали на всех кораблях у Кронштадта.


И у нас его самого многие звали Маяком. Это была не только товарищеская уменьшительная и величательная кличка, это было признание: поэтический маяк! Огромного радиуса лучи его славы, брошенные «экватору в циркуль», давали направление многим поэтическим кораблям. Лучи Маяка и сейчас бегут по нашему горизонту, достают нас. Но не так, «как свет умерших звезд доходит». Слово Маяковского врывается в наши мысли и дела «весомо, грубо, зримо». О нем пишется уже много книг, а будет написано еще больше, потому что людям всегда будет интересно знать, как жил, как работал, как звучал и двигался в жизни великий поэт революции Владимир Маяковский.

* * *

Сам он написал о себе очень скупо и коротко, просто и насмешливо. Он ненавидел самолюбование, он не терпел никакого умиления перед фактами собственной биографии. Он плотно забивал насмешкой все щели, через которые, как ему казалось, могла проползти сладкая жижа самоумиления.



Маяковский в возрасте трех лет с сестрой Ольгой (1896).



«Я — поэт. Этим и интересен. Об этом и пишу» — так начинается он свою краткую, лаконичную как телеграмма, автобиографию «Я сам». И дальше подчеркивает, что в нем самом следует интересоваться лишь тем, что «отстоялось словом», то есть тем, что легло темой или материалом для стихов, что определило его, выразило и воспитало как поэта.

Его родина — Кавказ, небольшое село Багдади в бывшей Кутаисской губернии. Оно окружено островерхими горами, красноватыми долинами, полными винограда. Горная река Ханис-Цхали вбегает в Багдади и, свернув в нем, вытекает из села, как вино из бочки.

Россия — далеко, за перевалами, за снегами. Оттуда приходят облака и газеты. Возле моста через Ханис-Цхали, в доме Кучухидзе 7 июля 1893 года в семье багдадского лесничего родился Владимир Маяковский.

Рождению мальчика были рады в доме лесничего. В семье росли уже две девочки: Люда и Оля. Хотелось сына.

Отец — лесничий Владимир Константинович Маяковский, высокий бородатый человек, шумный в веселье и гнев. Этого громкоголосого сердечного человека любят во всей округе. Крестьяне дружат с ним, запросто приходят к нему в гости. Ему приходится совершать большие объезды лесов. Он карабкается по кручам, бродит над пропастями.


Раз он идет по горам со спутником. Человек шагает по его следам и громко поет, и вдруг песня внезапно обрывается. Лесничий оборачивается — никого нет на тропе: песня оборвалась вместе с человеком, упавшим в пропасть.

Он спит в лесу, подкладывая седло под голову. Силач, он одной рукой вскидывает над головой бочонок с вином! Когда он сердится, голос его хорошо слышен на том берегу Ханис-Цхали.

Большеротый мальчик Володя Маяковский растет в дружбе с отцом. Отец иногда берет его в объезды. У него с отцом много маленьких тайн.

В шесть лет Владимир Маяковский уже умеет читать. Но первая книжка, самостоятельно им прочитанная, приторная детская книжонка, разочаровывает его так, что он, огорченный, твердит: «Из-за этого не стоило учиться... Если все книжки такие, нарочно разуучусь читать!»

Сестра Люда, готовя урок, читает как-то вслух «Узника» Пушкина. Стихи производят на мальчика такое сильное впечатление, что он убегает в горы, желая скрыть от девочек волнение. Теперь он сам начинает много читать, легко заучивает наизусть стихи. И в дни семейных праздников, когда в доме лесничего поют то по-грузински «Мравалжамиер», то по-



украински «Ой вы, хлопцы-баламуты», председатель яира, тулумбаша, ставит Володю на стул, и будущий поэт, вставив глаза на чурчхелу и инжирное варенье, читает громким голосом: «Как-то раз перед толпою соплеменных гор...» А восторженные гости предсказывают лесничему, что сын его далеко пойдет.

Ему уже хочется быть голосистым, басовитым. Он прислушивается к собственному голосу и, чтобы испытать его, придумывает смешное испытание.

Во дворе в землю врыты огромные глиняные кувшины — чури; в них хранят вино. Володя залезает в порожний чур, отсылает сестру Олю на другой конец двора и торжественно декламирует в кувшине: «Был суров король дон-Педро...» Его интересует, далеко ли слышно...

Потом замечают, что он и сам пробует складывать стихи, иногда даже говорит в рифму.

Несколько раз подряд от начала до конца перечитывает он «Дон-Кихота». Сделав деревянный меч и латы, он представляет себя рыцарем печального образа и разит окружающее.

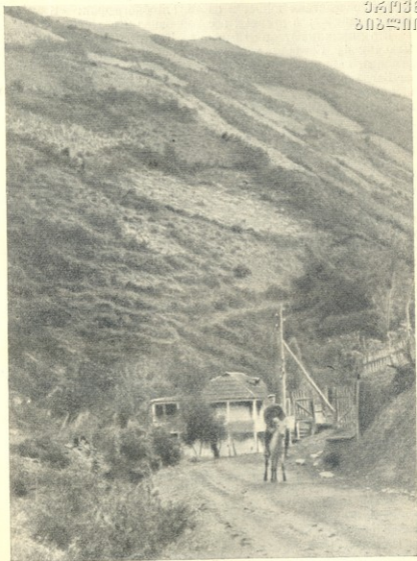
Однажды семья отправляется посмотреть на Гелатский монастырь, недалеко от Кутаиси. Заходят в древнюю церковь. Идет служба на грузинском языке. «Мамиса, дадиса, сулиса...» бубнит священник. И вдруг Володя в тон ему начинает повторять: «Крути, крути колесо, чтобы дело наше пошло хорошо...» А голос у него уже такой, что слышно во всех углах церкви. Все смеются. Разобрало даже богомольную тетку. Володю спешно выпроваживают из церкви.

Так кончается первое публичное выступление Владимира Маяковского.

Когда ему исполняется семь лет, мать, Александра Алексеевна, отвозит его в Кутаиси. Весной 1902 года Володя держит экзамен в кутаисскую гимназию, в старший подготовительный класс. Арифметика прошла хорошо, хотя незадолго до этого наука о числах казалась Володе Маяковскому совершенно неправдоподобной. Привыкший к обилию фруктов, он никак не может понять, зачем нужно считать яблоки и груши. Складывать их он еще согласен, но вычитание кажется ему делом уже совершенно ненужным.

Неприятности начинаются на экзамене по русскому и церковнославянскому языкам. Священник спрашивает: «Что такое око?» — «Три фунта», отвечает Володя, так как «око» по-грузински значит «три фунта».

Обиженный экзаминатор напоминает поступающему, что он



Улица имени Маяковского в селе Багдади.

находится в гимназии, а не на грузинском базаре. И Маяковский впоследствии пишет в своей автобиографии: «Возненавидел сразу — все древнее, все церковное и все славянское».

Его принимают в гимназию. Кутаисским гимназистом мальчик из Багдада кажется провинциалом, деревней. Его дразнят, задирают. Но большеротый широкоплечий мальчик из Багдада при первом же столкновении показывает обидчикам, чего он стоит в драке. А вкусная багдадская чурчхела, которой он великодушно угощает побежденных, окончательно укрепляет его авторитет в классе. Кроме того, он хорошо рисует, может изобразить смешные вещи и, если надо, срисовать корабль для товарища.

Популярность его в классе растет. Вскоре он становится членом «гетгутской бригады», как называют свою озорную компанию мальчики с Гетгутской улицы.

Бригада совершает налет на цветник полковника Курхавили. Попавшийся Володя Маяковский категорически отказывается назвать участников набега. Полковник сажает его в погреб, но холод и страх не могут сломить упрямства мальчика. Володю освобождают.

Он все больше и больше увлекается рисованием. Сестра Люда ведет его в студию художника Краснухи. Пока сестра показывает художнику рисунки и договаривается с ним об уроках, Маяковский успевает набросать на бумажке, к великому конфузу старшей сестры, карикатурный портрет хозяина на его мастерской. Художник хохочет и, приглядевшись к рисунку, оценив метким глазом смелую руку, соглашается безвозмездно давать Володе уроки рисования.

В гимназии Маяковский учится очень хорошо. Особенно успевает он по истории и по рисованию. Он идет первым учеником, «весь в пятерках».

Но начинается беспокойное время: Россия уже в войне с Японией. Володя узнает новое слово, которое произносит шепотом: прокламация.

«Прокламации вешали грузины, грузин вешали казаки. Мои товарищи — грузины, я стал ненавидеть казаков».

Сестра приехала из Москвы и привезла тайком длинные бумажки с революционными стихами. «Стихи и революция как-то объединились в голове».

Подшел 1905 год. Володе уже не до ученья — пошли двойки. Перешел в четвертый класс только потому, что ему расшибли голову в драке на Рионе. «На переэкзаменовках пожалели».

События, полные новизны, беспокойные, волнующие, будоражат Маяковского, отвлекают его от занятий. Он втяги-

საქართველო
საბჭოთაო



Дом, где жила семья Маяковских (село Багдади).

вается в политическую жизнь Кутаиси, он уже участник школьных забастовок, политических демонстраций. Его письма полны теперь описаний этой начинающейся, разгорающейся борьбы:

«У нас была пятидневная забастовка. А после была гимназия закрыта четыре дня, так как мы пели в церкви марсельезу...»

«Гимназия и реальное забастовали. Да и было зачем забастовать: на гимназию были направлены пушки, а в реальном сделали еще лучше. Пушки поставили во дворе, сказав, что при первом возгласе камня не оставят на камне. Новая блестящая победа была совершена казаками в Тифлисе. Там шла процессия с портретом Николая и приказала гимназистам снять шапки. На несогласие гимназистов казаки ответили пулями. Два дня продолжалось это избиение. Первая победа над царскими башибузуками была одержана в Гурии. Этих собак там было убито около двухсот. Кутаис тоже вооружается. По улицам только и слышны звуки марсельезы».

Маяковский жадно вглядывается во все происходящее. Он роется в книжках, читает их запоем от корки до корки. Бе-

рется за брошюры и книги по экономическим и политическим вопросам. Изучает Маркса, Энгельса, Бебеля в школьном марксистском кружке. А когда приходит домой с обыском, ищут оружие и мать со страхом ждет, что сейчас будет обнаружена отцовская берданка, Володя спокойно следит за жандармами: он давно уже стащил тайком отцовское ружье в социал-демократический комитет.

Теперь он готовит себя к политике. Он мечтает стать политическим оратором. Прочтя где-то, что оратор древней Греции Демосфен исправлял недостатки речи, декламируя с камнями во рту, Володя ходит на берег Риона и произносит там длинные политические тирады, набрав в рот голышков. Приятель его, повар священника Исидор, тот самый, что «от радости босой вскочил на плиту», когда убили усмирителя Грузии генерала Алиханова, увещевает Володю: «Да ведь твой грек, верно, занкой был, а у тебя вон голос какой! Чисто труба! Выплюнь ты их к чорту, камни эти!..»

Вскоре Маяковский получает боевое крещение. При разгоне революционной демонстрации над ним свистят нагайки казаков. Кроме того, ему «попало большущим барабанищем



Семейная группа в горах около Багдади (1900).

по голове». «Я испугался, думал — сам треснул», шутил потом Маяковский.

В феврале 1906 года умирает отец. Спивая бумагу, уколол палец булавкой. Началось заражение крови, и силачесничий гибнет... С угрюмой, недетской силой переживает эту потерю Володя. Нелепая смерть отца — пустячный укол булавки, поразивший большого, здорового человека — оставляет след на всю жизнь в памяти Маяковского. Он теперь всегда будет с нескрываемой мнительностью относиться к каждому порезу, взыскательно осматривать поданную в буфете тарелку, с брезгливой опаской братья за дверную скобу, захватанную чужими руками...

Наступают очень тяжелые дни для семьи Маяковского. После похорон отца в доме осталось три рубля. Лихорадочно распродают вещи. И семья переезжает в Москву. Снимают квартиру на Бронной. Нехватает денег на оплату квартиры. «С едами плохо»: пенсия — десять рублей в месяц. Приходится сдать комнату жильцам. Живут два малоимущих студента с Кавказа. Оба социалисты. Володя быстро сходится с ними. Постепенно его втягивают в подпольную революционную работу.

В 1908 году Маяковский вступает в партию РСДРП (большевиков). Срывающийся бас и высокий рост скрывают истинный его возраст. Володя кажется старше своих пятнадцати лет. Он становится пропагандистом. «Пошел к булочникам, потом к сапожникам и наконец — к типографщикам». На общегородской конференции его выбрали в МК. Теперь он зовется «товарищем Константином» — подпольная партийная кличка.

29 марта 1908 года полиция является в подпольную типографию Московского комитета. Типография разгромлена. Маяковский, нарвавшись на засаду, попадает со свертком прокламаций и подпольных газет. Его арестовывают. Но тут выясняется его истинный возраст — возраст, который он скрывал, будучи пропагандистом. По малолетству его отпускают, но за ним устанавливается строжайший надзор полиции.

В январе 1909 года Маяковский, продолжающий партийную работу, арестовывается второй раз. Его пытаются привлечь по делу группы экспроприаторов. Но прямых улик нет, и Маяковского отпускают.

Живущие у Маяковского студенты-революционеры готовят серьезное дело: хотят освободить из тюрьмы политических каторжанок. Мать и сестры Маяковского шьют платья, в которые должны будут переодеться беглянки. Побег отлично



удается. Когда полиция замечает переброшенный через стену Новинской тюрьмы еще качающийся канат, тридцать политических каторжанок уже бежали. Полиции неизвестно об участии в этом деле семьи Маяковского, но Володу арестовывают на квартире одного из организаторов побега. Он ведет себя вызывающе, держится независимо. Пристав, арестовавший его, составляет протокол, а Маяковский невозмутимо диктует ему: «...Владимир Маяковский пришел сюда по рисовальной части, отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что Владимир Маяковский виноват отчасти, а посему надо разорвать его на части...»

Маяковскому грозит ссылка в Туруханский край на три года. Но он не сдается, держится со спокойствием, которое возмущает надзирателей, громогласно отстаивает свои права, скандалит, дерзит, отказывается выполнять приказы тюремного начальства. Его крепнувший голос гулко раскатывается по коридорам тюрьмы. Он требует разных вольностей и свобод. Его переводят в одиночку № 103 Бутырской тюрьмы.

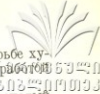
Он сидит в Бутырках шесть месяцев. Много читает. «После трех лет теории и практики — бросился на беллетристику». Пробовал сам писать, исписал стихами целую тетрадку. «Спасибо надзирателям, при выходе отобрали, а то бы еще напечатал!» признается он в своей автобиографии.

Возраст опять спас его: Маяковского выпускают.

Выйдя из тюрьмы, он задумывается: что же дальше делать? Нужно учиться! — решает он. Подполье, аресты, тюрьмы то и дело прерывали учебу. Из гимназии он уже давно ушел; ушел, не проучившись года, и из художественного Строгановского училища. Теперь, выйдя из тюрьмы, он остро почувствовал, что надо закончить образование.

«Я неуч. Я должен пройти серьезную школу. А я вышиблен даже из гимназии, даже и из Строгановского. Если остаться в партии — надо остаться нелегальным. Нелегальным, казалось мне, не научишься. Перспектива — всю жизнь писать летучки, выкладывать мысли, взятые из правильных, но не мною придуманных книг. Если из меня вытряхнут прочитанное, что останется? Марксистский метод. Но не в детские ли руки попало это оружие?.. Хорошо другим партизанами. У них еще и университет... Разве революция не потребует от меня серьезной школы?.. Я прервал партийную работу. Я сел учиться».

Осенью 1911 года, подготовившись в мастерской художника Келина, Маяковский поступил в Школу живописи, ваяния и зодчества. Это было тогда единственное место, где не спрашивали документа о благонадежности.



Он учится усердно, с жаром, присматриваясь к борьбе художественных течений в школе, интересуясь смелой работой художников-новаторов.

Вскоре в училище появляется мешковатый короткопалый человек в сюртуке. Он ходит напевая, заносчиво поглядывая на всех через странную лорнетку. Вид его показался Маяковскому наглым. Они сталкиваются в коридоре училища.

— Что вы выпятили на меня ваши рачьи глазки? — сердится Маяковский. — Я вот вывинчу из вас ваше вставное буркало.

— Не буркало, а бурлюкало! — отвечает тот. — Научитесь говорить.

Тут едва не происходит драка. Но все кончается благополучно, и вскоре они знакомятся.

Мешковатый человек с лорнетом оказывается Давидом Бурлюком, поэтом, художником, мечтающим о новом искусстве, ненавидящим старый строй стихов, жизни и живописи.

Вскоре они сходятся, убежав вместе со скучного концерта. Они договариваются: у Давида «гнев обогнавшего современников мастера», у Маяковского — «нафос социалиста, знающего неизбежность крушения старья».

Ночью они идут как-то вдвоем по Сретенскому бульвару. И вдруг Маяковский, застенчиво глядя в сторону, просит Бурлюка послушать стихи, которые накропал один его, Маяковского, знакомый. И он читает.

Бурлюк останавливается и внимательно смотрит на Маяковского.

— Да это же ж вы сами написали! — рывкает он на весь Сретенский бульвар. — Да вы же ж гениальный поэт!

И оба они долго стоят пораженные. Неизвестно, кто из них поражен больше: то ли Маяковский, услышавший такую грандиозную оценку своего стихотворного опыта, то ли Бурлюк, не подозревавший, какая подспудная сила таится в этом странном, неуклюжем на вид, немного угрюмом юноше.

* * *

А утром Бурлюк, знакомя Маяковского с кем-то, уже бормочет:

— Не знаете? Мой гениальный друг! Знаменитый поэт Маяковский.

Маяковский смущенно подталкивает его сзади, но Бурлюк непреклонен. Отойдя с Маяковским, он говорит ему:

— Теперь пишете, а то вы меня ставите в глупейшее положение.

И Маяковский пишет:

Багровый и белый отброшен и скомкан,
в зеленый бросали горстями дукаты,
а черным ладоням сбежавшихся окон
раздали горящие желтые карты.

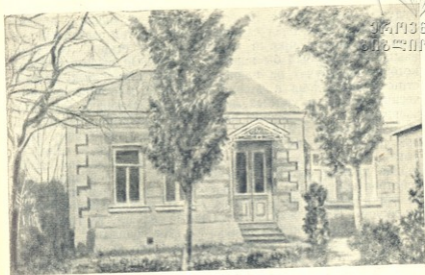
Здесь сказывается живопись. Маяковский-художник стремится перевести на язык стиха свои зрительные ощущения. Ночь уже отбросила и скомкала багровые краски заката и белый дневной свет. В «зеленом», в городской зелени, вспыхивают огни фонарей. Зажигают огни в окнах; они становятся похожими на желтые карты.

Так словами-красками рисует Маяковский картину ночного города.

Это один из первых опытов поэта. Маяковский не останавливается на нем. Он ищет новых средств для выражения своих мыслей. Его начинает интересовать не только внешность, но и смысл вещей, их душа, их содержание. С таким же мастерством, с каким он подмечал формы, краски и линии, он начинает чувствовать голос, звучание, движение жизни. Он обнаруживает замечательное умение — по-своему, неожиданно расшифровывать впечатление, которое оставляет комната, городской пейзаж, толпа, оркестр, бульвар, простые, будничные вещи. «На блюде студня» он дает читателю ощутить «косые скулы океана». Он может сыграть ноктюрн «на флейте водосточных труб».

В скрипке, которую осмеяли барабаны и тромбоны, он видит родственную ему, израненную душу человека, которого не понимают окружающие. Стихи эти напряжены так, что, кажется, чувствуешь судорогу каждой строки.

В то время на тихом фоне благодушной, сытой, салонной литературы уже раздаются первые горластые голоса русских футуристов. Эти люди считают, что нельзя следовать старым принципам искусства, что современность, обладая мощными машинами, самолетами, располагая силами пара и электричества, не может быть выражена стихами, написанными по старинке, красками и словами, употреблявшимися в прошлом. Надо искать новых путей для выражения современности, надо приблизить искусство к будущему. Это воспевание будущего, это стремление приблизить его, оценка всех вещей и событий с точки зрения грядущего и дали название футуризму: футурум — будущее. Будетляне — так назвал русских футуристов поэт Велимир Хлебников, замечательный предшественник Маяковского, таинственный словотворец, удивительный



Дом, где жила семья Маяковских (Кутаиси).

человек, «председатель земного шара», как он звался среди друзей.

Сами футуристы воспевают большие города, многоэтажные небоскребы. Они видят высшую красоту в стремительном мчании автомобилей, в полете аэроплана. В то же время они считают, что предметом и средствами искусства может служить не только реальное изображение вещей, но и просто лишённые какого-нибудь логического смысла пятна краски, поверхности, куски металла, геометрические формы, произвольно придуманные словообразования. Некоторые из футуристов, рисуя какой-нибудь предмет, расчлениают его форму на простейшие геометрические основы и воспроизводят из них фантастическое нагромождение кусков, передающее лишь внутреннее, смысловое сходство, часто открытое только самому художнику.

Разрывая недра языка, обнажая корни слов, стремясь уйти от узаконенной литературной речи, некоторые поэты-футуристы заполняют строки своих стихов ими придуманными, лишёнными обычного смысла, «самовитыми» словами так называемого «заумного» языка.

Примыкая к футуристам, Маяковский находит свой собственный путь. Его связывает с футуристами ненависть к прошлому, яростное неприятие мещанских красот, мечта





будущем человечества. Но его занимают не внешние проблемы футуристов. Ему дорог самый протест против засилья искусства и в жизни, против воинствующего старья. Он ищет язык, который был бы понятен толпам. Он выбирает слова, которые прозвучат на площадях. Ему становятся ненавистны чинные дома и чопорные мещане, млеющие от лирических стихов в уютных литературных салонах. Он готов взорвать их. Он дразнит их своими резкими, оскорбительными строками. Им в лицо бросает свое вызывающее, дерзкое «нате!» он, «бесценных слов транжир и мот». «Нахальный и едкий», он дразнит окровавленным лоскутом своего сердца тупого, сытого, берегущего свое самодовольное спокойствие обывателя. Недаром сборник, в котором печатаются стихи Маяковского, называется «Пощечина общественному вкусу». В обложке чуть ли не из дерюги, на грубой бумаге, орудиями буквами напечатан этот сборник.

Ни один журнал, ни одно издательство не печатает Маяковского. Но он не сдаётся. И вместе со своими товарищами Бурлюком и Каменским он ездит по стране, выступает на литературных вечерах, шарашит обывателя своими бунтарскими стихами, непривычными, пугающими полицеймейстеров и любителей изящной словесности. Чтобы хлеще ударить по салонным вкусам литературных чистоплюев, чтобы наверняка разъярить обывателя, Маяковский и его товарищи пускаются на смешное мальчишеское озорство. Маяковский шьёт себе для выступлений желтую кофту. Один из его товарищей выступает в парчевом жилете, с разрисованным лицом, другой — с аэропланом, намалеванным на лбу. Вызывая вопли негодования, шиканье «чистой публики», доводя чуть ли не до разрыва сердца и апоплексических ударов блюстителей красоты, тишины и порядка, наши друзья тщательно и долго распивают чай на сцене, а над ними висит вверх ногами подтянутый к колосникам рояль...

За показной, дразнящей, вызывающей на скандал дерзостью в Маяковском зреет подлинная ненависть к старому миру, к рабскому существованию человека, к сытому спокойствию его хозяев.

Начавшаяся война обостряет у Маяковского это чувство. В нем растёт ужас перед кровавой несправедливостью, когда все живое и человеческое забивается насмерть чугуном молотом войны. Может быть, Маяковский ещё не совсем ясно понимает, чьи интересы защищают враждующие армии. Но всем своим нутром поэта, всем своим огромным сердцем протестует он против войны.

Как единственного сына вдовы, его сперва не берут в сол-



Еще откровеннее и резче стихотворение Маяковского к этому отношению». Здесь автор уже не скрывает, что у него чешутся кулаки, чтобы ударить капиталиста по жирной роже.

Но большую, настоящую славу, первое серьезное признание приносит Маяковскому его большая поэма «Тринадцатый апостол». Цензура испугалась этого названия и запретила его. Тогда Маяковский, взяв одну из строк поэмы в заголовок, назвал ее в печати «Облако в штанах».

«Облако в штанах» безусловно одно из лучших творений мировой поэзии. Это произведение гневное, умное, тревожащее, небывалое по своей образной силе. Почти каждая строка его может быть взята на знамя тогдашнего молодого, становящегося на дыбы искусства.

Маяковский называет себя «крикогубым Заратустрой». Он говорит как пророк от имени людей, задавленных городом, тупым, бессмысленным трудом. Он отвергает любовь рабов, любовь опозоренную, обескровленную в мире насилия и несправедливости. Он отрицает сладеньких, чирикающих поэтов, которые «выкипячивают», пиликают, рифмы, в то время как корчащейся улице «нечем кричать и разговаривать». Остриями раскаленных строк, как штыками, штурмует он весь старый строй жизни. В гигантском замахе поднимает он руку на дряхлого бога, бога мещан и обывателей...

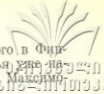
Маяковский уже в этой поэме подымается во весь свой исполинский рост. Громко и проникновенно говорит он от имени тех, кто держит «в своей пятерне миров приводные ремни». Огромная любовь к человеку чувствуется в каждой строке этой неистовой поэмы. Ни одной равнодушной строки, ни одного спокойно произнесенного слова. Маяковский впервые показал здесь, как в его сознании, в его творчестве тема личной любви становится темой огромного общественного значения. Стих Маяковского оказался достаточно могучим, чтобы передать движение миров, глухую тишину вселенной и чтобы уловить тончайшие движения сердца.

И, наконец, в поэме этой, полной мысли, огня, презрения, боли и жадного предвидения будущего, Маяковский торжественно пророчествует:

Где глаз людей обрывается кудый,
главой голодных орд
в теризвом венце революций
грядет шестнадцатый год.



Семья Маяковских. Стоят: отец Маяковского Владимир Константинович и сестра Людмила Владимировна. Сидят: мать Маяковского Александра Алексеевна, Маяковский и сестра Ольга Владимировна (1905).



Осенью 1915 года Маяковский навещает Горького в Финляндии, в Мустамяках. В саду, где осенние деревья уже надели желтые кофты, Маяковский читает Алексею, Максиму и вичу «Облако в штанах». Горькому нравится:

— Вот это настоящий разговор с богом! Давно господу так здорово не влетало.

Потом восхищенный Горький, озабоченно присмотревшись к Маяковскому, наставительно говорит ему:

— Вот что... Вышли вы на заре и громким голосом заговорили. А день-то велик. Хватит ли вас?

Гениальная поэма будоражит умы. Вокруг нее загораются споры. Одни восторгаются, другие, испуганные ураганной силой нового голоса, бранят Маяковского за грубость, «непозитивность»...

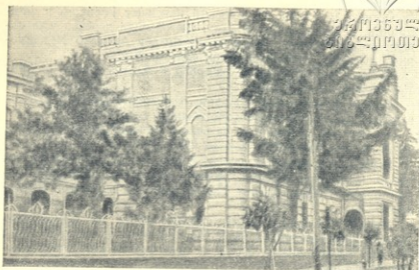
Напечатать поэму очень трудно. Один из ближайших друзей Маяковского, О. М. Брик, сам берется, на свой страх и риск, издать поэму. Цензура приложила свою руку: многие главы поэмы запрещены. «Облако вышло перистое, цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек...» — острял Маяковский.

В 1916 году Горький предложил Маяковскому печататься в своем журнале «Летопись». Горький почувствовал в Маяковском большого, талантливого поэта. В издательстве «Парус», где Горький был главным редактором, впоследствии вышел первый сборник стихов Маяковского: «Простое как мычание». Критика обрушивается на эту книгу. Над Маяковским издеваются. Злобно, возмущенно нападают и на Горького за то, что он позволил себе напечатать такого «грубого» поэта.

В это время Маяковский в Петрограде уже призван в армию. Он попадает чертежником в автошколу. Пишет «Войну и мир».

В дни Февральской революции он идет с автомобилями к Думе. «Влез в кабинет Родзянки, осмотрел Милюкова». Осмотр этих временных правителей России, очевидно, не удовлетворяет Маяковского. Он чувствует, что это еще не настоящая революция, что придет еще та, загаданная им, предчувствие которой давно не покидает поэта.

В «Новом Сатириконе», вышедшем через несколько дней после свержения царской власти, в первом бесцензурном номере, где на тексте последнего царского манифеста (об отречении) Аркадий Аверченко написал «прочел с удовольствием», напечатаны недавно еще запрещенные отрывки «Тринадцатого апостола».



Здание кутаисской гимназии, в которой учился Маяковский.

Маяковский приглядывается к событиям. Временное правительство продолжает войну. И Маяковский выступает со своим знаменитым стихотворением «К ответу»: не свобода, не бог, а тот же капиталистический рубль — вот во имя чего ведется война.

Газеты отвечают на это стихотворение Маяковского бранью.

Но вот приходит Октябрь, и наступает день, когда мир, ненавистный Маяковскому, мир, под который он столько раз подкладывал динамит своих стихов, наконец взрывается большевиками.

Берут Зимний дворец. Восставшие рабочие, революционные моряки и красногвардейцы идут в последний штурм, распевая задорную и сердитую частушку:

Ешь ананасы,
рябчиков жуй,
день твой последний
приходит, буржуй.

Песенку эту сочинил Владимир Маяковский.



* * *

Конечно, для Маяковского нет вопроса: принять или не принять? «Моя революция!..» Он идет в Смольный, 30 ноября он выступает на собрании деятелей искусства. Маяковский обращается с предложением помочь художественной работой советской власти. Многие знаменитости отказываются. Крики и споры. Тогда встает Маяковский и голосом своим покрывает шум:


— Предлагаю приветствовать новую власть и войти с нею в контакт!

«Дела по горло, рукав по локти» — он принимается за работу. Организует газету по искусству: «Искусство коммуны», пишет, читает балтфлотцам, печатает в газете свой знаменитый «Левый марш» — одно из самых лучших произведений революционной поэзии. Этот марш заучивают наизусть миллионы людей.

Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

Он ездит в Москву, выступает в Кафе поэтов, снимается в кинокартинах «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся» (по «Мартину Идену» Джека Лондона), «Закованная фильмой». Даже здесь — на работе, случайной для него, не основной — Маяковский как киноактер находит совсем новые приемы для игры. Движения его на экране жизненны и свободны. Он не вперяет ни в кого демонических взоров. Он ходит по мерцающему полотну упруго и легко, как в жизни. Мимика его скупа, размеренна. Он не суетится. В то время киноактеры так не играли. Маяковский угадал стиль современных нам кинокартин много лет назад.

Во второй половине 1918 года Маяковский закончил большую драматическую поэму, пьесу-обозрение — о борьбе рабочего класса с капиталистами, о победе революции, о гибели старого мира. Вещь эта называется «Мистерия-Буфф». Форма ее напоминает старинные средневековые представления на религиозные темы — мистерии, но в «Мистерии-Буфф» элементы религиозного представления подчинены требованиям буффонады, веселого сатирического балаганного представления. «Мистерия-Буфф» сразу возбуждает толки своей смелостью, изобретательной выдумкой, размахом описываемых в ней событий, великолепным озорством, отточенностью реплик. Революция изображается в ней в виде потопа, от которого спасаются буржуи. Буржуи воздвигают ковчег. В ковчеге плы-



вут семь пар «чистых». Это буржуи. С ними — семь пар «нечистых». Это рабочие, которых буржуи уговорили. В ковчеге разыгрываются бурные события. «Чистые» стремятся захватить власть над ковчегом, «нечистые» поднимают бунт. Буржуев сбрасывают в воду. Рабочие отправляются на поиски обетованной земли. Земля эта — Советская Россия.

Незадолго до первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Ленинграде были расклеены странные афиши:

«7-го ноября, в ознаменование первой годовщины Октябрьской Революции, будет поставлена пьеса Маяковского «Мистерия-Буфф». Все желающие играть в этой пьесе благоволят явиться в помещение Тенишевского училища... Там им будет произведен отбор, розданы роли».

Желающие сыграть в «Мистерии-Буфф» спешат к Тенишевскому училищу. Идут рабочие, моряки, идут малограмотные люди, которые готовы с чужих слов выучить наизусть текст ролей. Раздаются роли, проводятся репетиции. 7 ноября «Мистерия-Буфф» сыграна. Но в день спектакля куда-то исчезают три исполнителя. Маяковский сам исполняет в своей пьесе одновременно три роли.

В конце года появляется безыменная, никем не подписанная поэма «150 000 000». В ней рассказывается о возможном в будущем столкновении Советской России с миром капиталистов. Автором этой поэмы является как бы сам советский народ, насчитывавший в то время полтора миллиона. Но своеобразный строй стиха, громовые раскаты его, жгучая сила каждой строки позволили читателю быстро разгадать, кто автор этой поэмы. Все поняли, что ее написал Владимир Маяковский.

Страна переживает тяжелые, опасные дни. Республика напрягает все силы, отбиваясь от врагов в кольце фронта. Маяковский начинает свою прославленную работу в сатирических «Окнах Роста». Роста — Российское телеграфное агентство. Маяковский работает в нем дни и ночи, работает как поэт и как художник-плакатист.

Стоят типографии, разрушены литографии, а республике нужны плакаты, лубки, лозунги. Маяковский вместе с друзьями-художниками заменяет работу остановившихся литографий. Они делают проекты плакатов, режут трафареты. По этим трафаретам разными красками покрываются соответствующие места на заготовленных листах. Так одновременно рисуется множество однотипных плакатов. Под каждым рисунком стихотворная подпись, злободневный стих — строфа агитирующая, призывающая, высмеивающая, разящая. С мол-



Семья Маяковских (1905).



ниеносной быстротой Маяковский придумывает эти стихи, сам делает трафареты. Он рисует, красит, сочиняет. И вот свежие плакаты выставляются в «Окнах Роста», у которых уже собралась публика, ожидающая новостей с фронтов гражданской войны.

Около трех тысяч плакатов сделал за это время Маяковский, шесть тысяч подписей сочинил он.

Одновременно он работает над стихами и поэмами вроде утопического «Пятого Интернационала», пишет агитационные брошюры в стихах, сатирические лубки. Он зовет и других поэтов:

«Товарищи, дайте новое искусство, такое, чтобы вывло-
лочь республику из грязи».

Он выпускает «Приказ № 2 по армии искусств». Он направляет всю огневую мощь своего таланта туда, где требуется помощь и слово умного, культурного, честного поэта.

* * *

Распадаются кольца фронтов, кончается гражданская война, но Маяковский остается на своем посту, «революцией мобилизованный и призванный».

Молодой советской торговле нужна реклама. И Маяковский пишет великолепные, полные выдумки и игры рекламные плакаты: «Нигде кроме, как в Моссельпроме»... Он придумал выпустить конфеты со стихами, в которых объясняются новые метрические меры длины и веса. Он пишет стихи, помогающие стране бороться с разрухой, эпидемиями, разгильдяйством.

Поэты-белоручки чураются этой работы. Они пытаются высмеять Маяковского, назойливо пристают к нему со своими советами и опасениями, как бы Маяковский не разменял поэтическую силу на мелочи, недостойные большого поэта. Но Маяковский продолжает работать изо всех сил, вкладывая в каждое, на первый взгляд маленькое по теме, стихотворение свою выдумку, мастерство. Он работает с огромной, искренней заинтересованностью в успехе революционного дела.

Он ищет связи с миллионными массами читателей, он стремится в газету. Но противники новой революционной литературы, заседавшие во многих редакциях, шушукаются о том, что Маяковский «непонятен» рабочим и крестьянам. Тогдашний редактор «Известий» заявляет, что Маяковский ступит на страницы «Известий», только перешагнув через его труп...

Неожиданно он уезжает из Москвы в командировку, этот лирически настроенный редактор. Заменяющий его секретарь

Вчера была.
 Все пошлени твои пошлени 14 и сего
 все устали писали. Но в Кургане много
 страшно не было худъ стиховъ и романъ
 забавлялись ты и сего усталъ забавляе
 и стиховъ былъ направленъ куче, а вде
 атеистовъ считали еще лучше, ты и
 поставили во время сна да ты пример
 воле возмать а. а. не оставать на нас
 то Чеховъ Лавинский побудъ ты совершилъ
 заданъ во время Ширинъ ты и
 процесъ и у переставъ на стиховъ и
 аристократъ ты и забавляе сего ты и
 на неслышишь стиховъ ты и забавляе отъ
 ты и забавляе два дня проделавъ ты
 ты и забавляе. Ты и побудъ ты и забавляе
 забавляе ты и забавляе в Кургане ты
 забавляе ты и забавляе ты и забавляе
 забавляе ты и забавляе ты и забавляе
 забавляе ты и забавляе ты и забавляе
 забавляе ты и забавляе ты и забавляе

Вот тебе письмо. На бумаге...
 когда случится...
 твой и не забудь...
 Твоя и твоя твоя

Прощай тебе...
 твой друг
 Васова


Письмо Маяковского сестре Л. В. Маяковской (1905).

редакции, большой ценитель Маяковского, решает, воспользо-
 зовавшись отсутствием начальника, напечатать хоть одно
 стихотворение Маяковского в «Известиях».

И вот 5 марта 1922 года в «Известиях» впервые появляет-
 ся стихотворение Маяковского. Это всем ныне известное «Про-
 заседавшиеся». Вся Москва хохочет над высмеянными Ма-
 яковским бюрократами. Секретарь редакции, видя, какой ус-
 пех имеет стихотворение, уже без особенного страха думает о
 приезде редактора. А назавтра на заседании коммунистиче-
 ской фракции Всероссийского съезда металлистов выступает
 Владимир Ильич Ленин:

«Вчера я прочитал случайно в «Известиях» стихотворе-
 ние Маяковского на политическую тему... — говорит Ленин.—
 Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения
 политической и административной. В своем стихотворении он
 вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами,
 что они всё заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет
 поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно
 правильно».

Маяковский прочно завоевывает себе место в газетах. Он
 печатается в «Известиях». Потом стихи его появляются регу-



лярно в «Комсомольской правде». Острый глаз поэта-газетчика высматривает в гуще быта каждую мелочь, которая может повредить краснофлаговому строю. Он попрежнему хлещет и безжалостно сечет своими строками обывателя, уже приспособившегося к революции. Стихи его полны величественного и грозного пафоса революции, сердечной гордости за свою страну. С неутомимой отзывчивостью откликается он на каждое событие. Ничто не проходит мимо его зоркого глаза. Он всегда в курсе дел. Ему не надо специально нагнетать в себе интерес к теме, заданной редакцией. Тема давно уже живет в нем, обрастает материалом и только ждет подходящего повода, чтобы зазвучать в стихах.

Его читает уже вся страна. Люди уже научились не спотыкаться на его ступенчатых строчках, поняли, что эти строчки-ступеньки облегчают правильное чтение вслух. Стихи Маяковского написаны так, что сами удобно ложатся «на голос». Эти стихи хорошо произносить. Они отлично звучат на улицах, на больших гуляньях, на площадях. И, как ни бубнят докучливые противники, как ни тщатся они доказать, что Маяковский непонятен, что Маяковский — не поэт, как ни стараются они отравить своей злобной болтовней существование поэту, Маяковского уже любит советская молодежь, любит, знает, считает своим поэтом.

И стихи Маяковского становятся все проще, все яснее. С еще большей силой и внятностью проступают в них заложенные поэтом мысли.

Но, неукротимо рвущийся вперед, бдительный к себе, неумолимо требовательный, он зорко присматривается и к успеху своему: не становится ли он уж слишком для всех подходящим, равнодушно удобочитаемым, общепризнанным?.. Не готовят ли ему лавровый венок? Не иступились ли кили у его броненосцев на литературном рейде? Он не хочет, чтобы его, «как цветочек с полян, рвали после служебных тягот». Ему ненавистно неспешное существование мещанина, чье мурло «вылезло из-за спины РСФСР».

Ты, может, к ихней примазался касте?

Целуешь?

Ешь?

Отпускаешь брюшко?

Сам в их быт,

в их семейное счастье

намереваешься пролезть петушком? —

безжалостно спрашивает он самого себя.



НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
РОССИИ



Семейная группа. Слева — Маяковский (1906).

Женщина, которую он любит, инициалы которой стоят в посвящении на всех его крупнейших произведениях, с такой же жестокой простотой заговаривает с поэтом на эту тему. И они решают расстаться на известный срок, чтобы пересмотреть свою жизнь, чтобы подумать, как жить дальше, чтобы проверить себя. Маяковский подвергает себя добровольному заточению. Два месяца он сидит, втиснутый в маленькую комнату на Лубянском проезде. Два месяца, проверяя каждое слово, бесконечное число раз меняя строку за строкой, работает он над поэмой «Про это».

Так создается одна из лучших поэм Маяковского, полная тревоги и любви. Маяковский-лирик сливает в один мощный поток стиха глубоко личные, автобиографические мотивы с темами огромного общественного значения, с вопросами, волнующими целое поколение. Само обнаженное существо поэта раскрыто здесь, и кажется, что в каждой строке поэмы разветвлены окончания его нервов. И в то же время это поэма, утверждающая жизнь, поэма непреклонной веры в будущее, к которому люди непременно вырвутся из последних трясин еще не до конца разбитого старого бытия.



* * *

Смерть Владимира Ильича Ленина Маяковский воспринимает как личное и народное горе. Маяковский уже не раз обращался к образу Ленина. Теперь, после смерти Ильича, он задумывает большую поэму о Ленине. Он работает весь 1924 год. Тщательно собирает материал, перечитывает книги, расспрашивает людей, близких Ленину. Он еще и еще раз, тысячу раз примеряет форму, в которую ему хочется отлить поэму о Владимире Ильиче Ленине.

«Владимир Ильич Ленин» — поэма, посвященная автором Российской коммунистической партии, — лучшее литературное произведение о великом Ленине.

С нежностью и уважением, нигде не переходящим в умиление, говорит Маяковский о Ленине. Широко и точно обозначает он место Ленина в истории. Тяжело, мерно, мужественно звучат траурные строки последней части поэмы, где описываются похороны Ленина...

Переписанная плотной строкой, без разбивки, сплошняком, на листочки папиросной бумаги, ложится эта бессмертная поэма на дно дорожного чемодана, с которым Маяковский проходит через таможни Европы и Америки. Маяковский путешествует. Он едет в Германию, во Францию, в Америку. С гордостью предъясняет он на всех границах, как знамя поднимая над головой, свою «краснокожую паспортину», «пурпурную книжицу» — паспорт СССР: «Читайте, завидуите. Я — гражданин Советского Союза!»

В какой бы точке земного шара он ни был, он чувствует себя советским гражданином.

Он смотрит города, людей, новые вещи, он взыскательно приглядывается: чему здесь можно научиться, что следует перенести, чтобы внедрить это потом на родине? С каким умным, новым, подлинно советским патриотизмом, с каким поэтическим тактом, литературной честностью и патриотической заинтересованностью написаны стихи Маяковского о Западе, об Америке, путевые его очерки! Он одинаково далек и от квасного зазнайства и от провинциального ротозейного преклонения перед величию американской техники.

«Бруклинский мост — да... это вещь!» Эйфелева башня в Париже — тоже ему по душе. Крепко шарахнули в небо. Но башню ему хочется к себе перенести, домой, на родину. «Идемте! К нам! К нам, в РСФСР! Идемте к нам — я вам до стану визу!» призывает он башню.

И восхищение Бруклинским мостом — этим «грандиозным приспособлением для простуд», меркнет перед острой лирической силой строк об американских комсомольцах из «Кемпа



Вход. № 702 в 1902 г. № 17
 1902 г. 1902 г. 802-111033

от 5829 Прставу I участка Судебной части.

8 мая 1908

Согласно отношения Судебного Следователя Московского Округного Суда по особым делам д. д. Р. Р. Вольгановского от 6 июня 1908 г. № 709, Охранное Отделение просит Ваше Высочайшее благоудобрение учредить за проживающим в доме Безобразова, по 4 Тверской Ямской улице, дворянином Владимиром Владимировичем МАЯКОВСКИМ, особняк жандармский и с последующим уведомить Отделение и Вашего Судебного Следователя.

34 Начальника Отделения,

Помощник Регистратора *Павлов*

Распоряжение Охранного отделения об установлении надзора за Маяковским (1908).

Нит Гедайге», которые «песней заставляют плыть в Москву Гудзон».

Высокого вкуса, остроумия, грозного благородства исполнены стихи Маяковского о Париже. Но поэт признается, что он «хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва».

Он земной шар чуть не весь обошел. «И жизнь хороша, и жить хорошо». Мир кажется ему большим, вместительным, но «для веселья планета наша мало оборудована».

На каждом шагу за рубежом путешественник Маяковский натывается на факты жесточайшего угнетения человека. Все его поэтическое существо содрогается от этих картин. Он



чувствует себя везде пришельцем из передовой страны, стившимся на дно истории: продажная любовь, ханжество, лицемерие, грубейший вкус!..

Он ездит по Европе и Америке, выступая с докладами, читает свои стихи, рассказывает о советской литературе. Стены залов, стены аудиторий, в которых он выступает, кажется вот-вот рухнут, так набиты залы, так грохочет на весь мир прославленный голос советского поэта. Буржуазные газеты сочиняют небылицы о Маяковском, требуют его высылки обратно в СССР. Рабочая пресса дружно приветствует «полпреда стиха» СССР, призывает всех слушать Маяковского.

Но Маяковского тянет домой, в боевую кипучую «бучу» нашей советской жизни. Вернувшись на родину, он отправляется «менестрель» по Советскому Союзу. Он ездит по городам Советской страны, рассказывает о своих зарубежных впечатлениях, читает стихи, расправляется с литературными противниками. Его выступления во всех углах СССР не похожи на гастрольные концерты. Разговор Маяковского с читателем обогащает аудиторию, дает ей всегда и прежде всего революционную направленность. Маяковский отдает этому много сил и времени. «За один день читал (за один, но не один), от гудка до гудка, в обеденный перерыв прямо с токарного станка на заводе Шмидта; от пяти до семи — красноармейцам и матросам в только что строенном прекрасном, но холодном доме Красной Армии; от девяти до часу — в университете. Это Баку». (Владимир Маяковский, «Рожденные столицы».)

В Ленинграде, в Баку, в Киеве, в Саратове, в Харькове, во всех крупных городах Советского Союза гремит его мощный голос. Огромный, широкоплечий, еще полный большого путевого движения, еще не потерявший кругосветного раагона, он взбирается на сколоченные наспех подмости в цехах, выходит на эстраду клубов, на трибуну больших городских залов. Зал гремит аплодисментами. Маяковский исподлобья оглядывает переполненную аудиторию. Все проходы забиты, и балкон, кажется, готов рухнуть. Там на каждом месте сидят по крайней мере по-двое. Молодежь, студенты, рабфаковцы, молодые красноармейцы... Только в первых рядах еще зияют кое-где прорехи — пустые места, оставленные для лиц особо уважаемых и пренебрежительно опаздывающих.

Маяковский с мрачной иронией оглядывает первые ряды и поднимает голову. Теперь он смотрит вверх, на балкон.



Крепко закушенный, втиснутый в самый угол, рок вдруг сдвигается в широкой, чудесной улыбке.

— Галёрка! — произносит Маяковский грохочущим своим басом. — Студенты! Сюда!

И жестом, убедительнейшим по своему размаху и простоте, он приглашает веселое население галёрки занять неприкосновенные места партера.

Студенты ринулись вниз. Растерянные капельдинеры смелены.

— Горные жители спускаются в долины, — вполголоса басит Маяковский.

Пять минут шума, топота, веселых пререканий, толкотни — и вот от самых ног Маяковского, от края эстрады, на ступеньках, в проходах, на лестницах, вплоть до задней стены аудитории — все заполняется горячеголовой, яснолицей публикой, которую так любит Маяковский, адресуя ей свои стихи.

И Маяковский сразу словно подобрел. Огромные глаза, поражающие обычно своим глубоким, мрачным и гордым блеском, потеплели. Он чувствует себя окруженным живой, горячей надежной стеной.

Он начинает свой «разговор». Так называет Маяковский доклады и беседы о литературе.

Но, когда он замечает, что там, в зале, сбившись в шопоте, засели группочки противников и любопытствующих обывателей, он снова становится резок и беспощаден. Всё — и оглушительно рокочущую силу своего голоса, «поэта охоты сокола», и яростный темперамент трибуна, и совершенно неповторимую, ошеломляющую находчивость импровизатора, и озорной задор полемиста, и разящую иронию, и скрытую теплоту внутреннего волнения, и грозное обаяние внешности — всё использует он в жестокой словесной драке за новое, революционное искусство. Стремительный юмор его настигает робеющих спорщиков.

— Что? Ну вы, товарищ, возражаете, как будто воз рожаете... Вы, я вижу, ровно ничего не поняли. Собрание постановило считать вас отсутствующим.

— До моего понимания ваши шутки не доходят, — ерепенится непонимающий.

— Вы — жирафа! — восклицает Маяковский. — Только жирафа может промочить ноги в понедельник, а насморк почувствовать лишь к субботе.

Он отвечает на десятки записок, сыплющихся на стол.

— «Ваши стихи скоро умрут. Они слишком злободневны», — читает он вслух очередную писульку.

— А вы зайдите через тысячу лет, там поговорим, — дует ответ.


Свой разговор с читателем он считает для себя таким же кровным делом, как непосредственную работу над стихом. В этих разговорах он неутомимо агитирует за новые требования, которые должны предъявляться к революционному поэту.

— Пустяковая работа, — говорит он. — Сейчас все пишут, и очень недурно. Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если ты даже скапутился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: «Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная».

Он доказывает на деле, всей своей работой, что высокое мастерство нужно ему прежде всего для того, чтобы как можно убедительнее, как можно крепче, возможно более запоминающимися образами и рифмами внедрять в мозги, в жизнь идеи социалистической революции. И потому, несмотря на кажущуюся сложность его стихов, Маяковский добивается максимальной ясности, убедительности, понятности каждой строки. Все более простым и ясным делается построение его стихов, ничего не потерявших, ничего не уступивших в своих творческих правилах.

Эти железные правила своей работы, новые законы стиха он защищает и в статьях и в программных стихотворениях. Его «Разговор с фининспектором о поэзии», написанный в 1926 году, посвящен основным политическим и творческим принципам, которые Маяковский считает обязательными для поэта. Образно и наглядно объясняет Маяковский, во что обходятся настоящему поэту драгоценные слова, добытые «из артезианских людских глубин». «В грамм добыча, в год труды». «Тысячи тонн словесной руды» приходится извести поэту, чтобы превратить «слово-сырец» в «слово — полководец человеческой силы». У Маяковского рабочее отношение к словесному материалу. Он знает «силу слов», он слышит «слов набат». У поэзии Маяковского «мозолистые руки». С уважением говорит он и о тяжелом труде поэта-изобретателя, мчащегося «в неизвестное». И сам он всей своей работой создает совсем новое стихосложение. Он совершает переворот в поэзии. Он открывает новое отношение к рифме, невиданное построение стиха.

Напевная, мелодичная строка поэтов-символистов разры-



вается Маяковским на ключья. Мягкая, ритмическая, качка стиха заменяется тяжелым, задышающимся бегом. Рифм у стиха вольно меняется по требованию темы. Строка, как солдат, «подменяет ногу» на ходу, чтоб шаг стиха соответствовал каждый раз, при любом повороте темы, смысловому строю. Вместо усыпляющей, закачивающей поэзии возникает новая, будоражащая, взерошенная, беспокойная поэзия революции.

Маяковский вводит в стих приемы ораторской речи. Рождается особый склад поэтической фразы: непосредственно обращенной к читателю, повелительной, спрашивающей, требующей, договаривающейся до конца, без недомолвок. Меняется и весь словарь поэтов. Изысканные, хрупкие слова литературно-книжного обихода непригодны для речи поэта-трибуна, для марша или лозунга. Маяковский открывает доступ в поэзию словам с улицы, грубоватым, режущим ухо, но полным жизни, свежести и силы. Это — слова живого разговорного языка. В поэтической лаборатории Маяковского они превращаются в слова-громады, которые поражают читателя своей силой и неожиданно раскрытым новым смыслом.

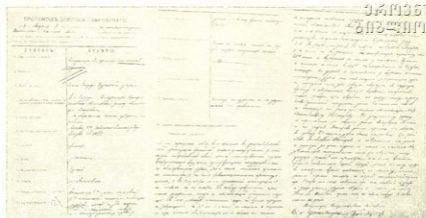
Ораторский, разговорный строй стиха требует сжатости, лаконичности. Маяковский выбрасывает из стихов своих все лишнее, все, что замедляет течение строки, все, что разъединяет слова. Слова у него стоят плотно. Он пишет с телеграфной краткостью и точностью. Но каждое слово оплачено им по самому высокому, срочному тарифу сердца, мысли и крови. Каждое слово найдено в труде, продумано, взвешено и скреплено «строкоперстой» клятвой поэта.

Строка Маяковского разбита на ступени, облегчающие чтену-оратору произнесение стиха вслух. Но от этого строка не распадается. Ее крепко связывают в одну звуковую цепь избобетательно найденные созвучия внутри слов, схожие повторяющиеся слоги. Неожиданные, никем еще не употребленные рифмы заканчивают строки, «подтянув подпруги» стиха. У символистов рифма откликалась привычно и послушно, как эхо. Звукопись строки была неким таинством слов, открывающимся лишь для избранных. У Маяковского слова звучат во всем своем обнаженном естестве, ничего не утаивая. Всегда поражающие рифмы Маяковского — не просто вышпиленная рамка четверостишья, а отточенное оружие поэта. «Рифма — бочка. Бочка с динамитом. Строчка — фитиль...» «Дрянно хлещите рифм концом...» «Целься рифмой и рифмой ярьсь!..»

«Самые важные слова в стихе, — говорит Маяковский, — термины, названия, понятия, имена должны быть обяза-



УДК 82-001.01
ББК 84-001.01



Протокол допроса Маяковского (1908).

тельно зарифмованы, должны стоять в конце строчки ударными словами...»

Необыкновенные составные, многосложные рифмы рождаются в стихах Маяковского: «Носки подарены — наскипидаренный», «Молот и стих — молодости», «За мед нам — пулеметным», «Опирается — кооперация». Рифмы эти накрепко запоминаются.

Открытия Маяковского применяют в своих стихах и все другие поэты. Маяковский, в стихах которого бок о бок уживаются пафос и насмешка, оратория и частушка, здравница и проклятия, лирика и плакат, выводит за собой молодую поэзию советской эпохи, мировую революционную литературу на новые, просторные пути.

* * *


Он исключительно работоспособен. Он работает ежедневно, круглосуточно, самоотверженно. Со страниц «Комсомольской правды» на всю страну звучат его стихотворные фельетоны. Внимательно приглядывается он к быту советской молодежи. Бьет тревогу по каждому поводу, который пятнает или может запятнать облик комсомольца, задержать рост молодежи. Он до остервенения ненавидит халтуру, приспосаблиенчество, хамство. Пошлость самая наималейшая вызывает в нем почти физическое омерзение. «Не пошлите! Только не пошлите, пожалуйста», говорит он. И пишет: «Пускай партер рукоплещет — «браво!» — но мы где пошлость — везде должны, а не только имеем право негодовать и свистеть».



Здание Суцеского полицейского участка (место заключения
 Маяковского в 1908 году).

Ездя по стране, он замечает огромную перемену, произошедшую в жизни миллионов людей, восторгается новыми индустриальными пейзажами, радуется каждой мелочи, несущей на себе печать побеждающего социализма; огорчается, ярится, безжалостно выволакивая на свет замеченную им в нашей жизни, в нашем быте грязь, отсталость, свинство — малейший остаток «рабьего» прошлого.

К X годовщине Октябрьской социалистической революции он пишет одну из замечательнейших своих поэм: «Хорошо!» В ней он обнаруживает новые качества своего развернувшегося таланта. Это поэма о победившей революции, об утверждении нового, радостного бытия человека. В ритме каждой ее строки отдаются удары большого, полновесного сердца человека, влюбленного в свою родину, восторженно гордящегося ею. Необычайное разнообразие оттенков, приемов, ритмов применяет здесь Маяковский. Тут и блестяще написанная величественная картина октябрьских боев, и жгучая




сатира, и мастерски рассказанная хроника первого десятилетия Октября, и частушка, и от самого сердца идущие, любое сердце пронимающие лирические строки — о любви, о шепотке простой соли, о синем шелке неба, о земле, с которой «вдвоем голодал». Поэма заканчивается светлой и звенящей от радостного напряжения песней о родине. Заключительные простые и торжественные слова поэмы давно уже заучены теперь наизусть миллионами людей. Строки эти славят молодость нашей страны, в которой каждый может лет до ста расти без старости и творить, выдумывать, пробовать. В этих строках ясно слышится победная, широкая поступь грядущего.

Чтобы подняться до таких превосходных и широких обобщений, требуется умение в каждой мелкой теме находить зерна больших идей. Маяковский часто соединяет в своих газетных стихах и фельетонах злобу дня и мечтательную смелость заглядов в будущее. В юмористическом стихотворении о неработающем лифте он умеет поставить будничную тему так, что стихотворение сразу наполняется духом большого времени. «Пусть ронжут поэты, слюною плеща, губою презренья вызменв. Я, душу похерив, кричу о вещах, обязательных при социализме».

Каждое, даже мелкое стихотворение Маяковского, каждое выступление его — это не пустая хвала, а утверждение революции; не добродушное осмеяние врагов, а яростное, беспощадное уничтожение их. И он зовет молодежь, весь советский народ зорко следить, чтобы враг не нарушил нашей дружбы, нашей стройки.

Бюрократы, мертвые души, хулиганы, антисемиты, разгильдяи, малoverы, политические недоросли, себялюбцы — все эти жалкие, обреченные на вымирание людишки испытывают на своих боках тяжелые удары сатирических негодующих, громободных стихов Маяковского. Он разделяется с ними и в стихах, и в прозе, и в своих выступлениях перед читателем, и в пьесах.

Он пишет две пьесы: «Клоп» и «Баня». Он любит в своих сатирических вещах сталкивать людей будущего с современными обывателями. На фоне будущего, уже очищенного от всего скверного, что осталось нам в наследство от старых лет, с особой неприглядностью и резкостью раскрывается обличье некоторых наших современников. В пьесе «Клоп» Маяковский переносит в будущее обывателя наших дней. В последнем своем произведении для театра, «Баня», он сталкивает наших современников с «фосфорической женщиной», явившейся на машине времени к нам из будущего.



Маяковский — мечтатель, он подлинный мечтатель, в самом лучшем, ленинском понимании этого слова! Его любовь к человеку будущего, наследнику наших дел, — это не беспочвенная восторженная утопия. Это уверенность бойца, берущего точный прицел, хорошо знающего высоты, которыми надо овладеть. И он рвется к этому будущему, шагая так, что «брюки трещат в шаг» и к старым дням ветром относит «только путаницу волос».

Но, восторженно мечтая о будущем, именем его грома наши сегодняшние недостатки, Маяковский с любовью и вниманием отыскивает черты этого будущего в лучших людях нашего времени. Он находит их и воспевает в гигантском образе Ленина, в «Солдатах Дзержинского», в «Строителях Кузнецкстроя»... «Я знаю — город будет, я знаю — саду цвести, когда такие люди в Стране советской есть».

Он ходит по Москве, грохая тростью в асфальт, легко обгоняя попутных, круто обходя встречных, неся широкие плечи над головами прохожих. Он уже стал частью Москвы. Его голос влит в грохот столицы. Стук его трости, шаг его, пологий покат плеч, плывущих над головами, навсегда запомнит Москва. Он идет, не поворачивая головы, не озираясь, но изпод тяжелых бровей глаз пронзительно и цепко, как гарпун, вонзается и в опрокинутую урну на заплеванном тротуаре и в самолет, плывущий по небу.

Ему до всего есть дело. Все трогает его, все волнует, все его касается. Моя революция, моя Москва, моя милиция, мой Моссовет!

— Что делается? — бормочет Маяковский про себя. — Что делается? Это уже социализм.

Он шагает по Москве, все примечая, радуясь и негодуя, дивясь и тревожась.

— Я писатель, газетчик. Я все должен видеть.

Он идет, а за ним, подглядывая из-за угла, волочится сплетня, гогочет, вирипрыжку подскакивая, анекдот: «Маяковский... Сегодня в одной редакции ему денег не заплатили, так он три стола в щелки разбил, кассира на чердак загнал... А вчера, слышали? Говорят, памятник Пушкину поднять хотел...»

Враги ищут обидные, несправедливые и глупые статьи о лучших его вещах. Критики из враждебного лагеря литературы улюлюкают, издеваются над каждой его строкой.

И не многие знают, как мало надо, чтобы обидеть его. Только друзьям известно, сколько ласки и тепла в этом большом человеке, который мрачнеет до черноты от каждого за-

меченного им свинства, а от похвалы и внимания мякнет, конфузится.

Он кажется наглым, грубым, несокрушимо уверенным. Огромный, упорный, в сверкающем непробиваемом остроумии, он врывается в спор, как танк в чашу, все сокрушая вокруг.

А за этим рыком и ростом живет болезненно восприимчивый, очень незащищенный, в сущности, человек огромной и тончайшей души, живет взволнованно, азартно. Весь он — «сплошное сердце»! За нарочитой резкостью, за площадной грубостью, которую он использует как оружие и броню, скрывается человек огромной внутренней теплоты, непотухающей нежности. Замечательны его детские стихи. Какое настоящее, взрослое понимание ребенка и строгую любовь к нему должен нести в себе этот суровый на вид, сажанный человек, чтобы написать чудесные строчки о «звериках», о «плоховатом мальчике», о «тучкиных штучках».

И в книжках для ребят он тот же поэт-новатор, стремящийся найти способы делать большую, настоящую поэзию понятной для детей. Вместе с лучшими детскими поэтами Маяковский вносит в литературу для малышей новые темы, суровые требования вкуса, законы «левого искусства». Он помогает ребятам решать вопрос, «кем быть» в жизни. Он вышучивает лентяев и лоботрясов, пишет песню о пионерских стрелковых кружках, сам читает свою «Песню-молнию» на пионерском слете тысячам пионеров, собравшимся на стадионе.

Дружба с Маяковским помогает советской детской литературе навсегда покончить со сладеньким, «рассироленным» дешевым чтением, которым прежде пичкали ребят.

За какое бы дело Маяковский ни взялся, все умеет он перевероршить, переиначить, во все входит он сам «душой, губами, костяком»...

У него микрометрическое чутье к самой незаметной человеческой боли. Даже личная любовь его — это воинственная борьба против пошлости, эгоизма, предрассудков, борьба за общее, «всехное» счастье.

Он радуется каждой удаче товарища, каждой свежей строке другого поэта. Но и от гнева его скрыться невозможно. Он становится живой совестью молодой революционной поэзии.

Но если Маяковский ставит себя в известном стихотворении «Необычайное приключение...» рядом с солнцем, считая себя подменным светилом, то речь идет не о нем, Маяковском как таковом, а о силе и долге революционной литературы. В духе этой же почтительной иронии разговаривает Мая-



Карточка, составленная московской охранкой после ареста
Маяковского.

ковский и с Пушкиным. Ему дорог живой и страстный облик поэта, на который пытаются навести хрестоматийный глянец. Только очень тугоухие литературоведы могут утверждать, что Маяковский не понимает Пушкина, мелко соперничает с ним. Ненавистник «всяческой мертвечины», обожатель «всяческой жизни», он глубоко любит и ценит Пушкина, «но живого, а не мумию». И, когда на экранах появляется картина, искажающая образ Пушкина, Маяковский гневно выступает на диспуте.

— Это глумление! — кричит он. — Вы не смеете... не смеете так показывать Пушкина — поэта, равного которому не было и нет в России.

* * *

21 января 1930 года Владимир Владимирович Маяковский на траурном вечере памяти В. И. Ленина в Большом театре



читает последнюю часть своей поэмы «Владимир Ильич Ленин».

Он готовился к этому выступлению с нескрываемым нетерпением:

— Пожалуй, самое ответственное выступление в моей жизни!

Он еще и еще раз перечитывает поэму, строки которой давно уже помнит наизусть.

Зал Большого театра встречает его аплодисментами. Он выходит на сцену в просторном темносером, крупного зерна костюме. Даже здесь, перед шестью ярусами гигантского зала, среди нависающих многоаршинных сводов, в огромном зеве сцены, он кажется таким же крупным, не поддающимся никаким уменьшениям. И вот во все уши, во все ложки, едва не колыхнув красного бархата занавесей, словно разгибая подкову зала, вторгается никогда неслышанный в Большом театре голос.

Победительная искренность его захватывает всех. Когда Маяковский кончает, все стоя аплодируют ему. «Браво, браво, Маяковский!.. Хорошо, Маяковский!..» слышит он из всех ярусов.

Он улыбается, усталый и благодарный, и видит, как за барьером правительственной ложи, протянув к нему руки, взволнованно аплодирует Сталин.

* * *

Двадцать лет не выпуская из рук своего вечного пера, работает Маяковский. И он решает подвести некоторый итог тому, что сделано. Он организует выставку «20 лет работы». В феврале 1930 года эта выставка открывается. Она показывает такой диапазон поэтической работы Маяковского, какого еще не знал ни один писатель, ни один поэт в мире. Здесь и книги на многих языках, и политические брошюры, и афиши театров, и киносценарии, и детские книжки, и газетные статьи, и стихотворные плакаты, и санитарные правила в стихах, и лозунги, и рекламы, и листовки, и конфетные обертки.

«Я всю свою звонкую силу поэта тебе отдаю, атакующий класс», с полным на то правом говорит Маяковский пролетариату.

На открытии выставки он читает собравшимся первое выступление к большой начатой им поэме о Сталинской пятилетке — «Во весь голос».


Слушающие его потрясены. Опять чем-то совсем новым наполнился голос Маяковского. «Во весь голос» — это разго-



Маяковский (1911).

вор Маяковского с будущим. «Агитатор, горлан, главарь», он обращается к товарищам потомкам, с гордостью рассказывая им о наших днях и о своей поэтической работе. Он разговаривает с людьми будущего, как живой с живыми. Он твердо убежден, что будущее по-настоящему оценит и примет его, когда он, поэт, явится туда, предъявив «все сто томов» своих «партийных книжек».

Долго не расходятся люди с выставки. Маяковский ходит от цита к циту, водя за собой тесно обступивших его комсомольцев, студентов, рассказывая о своей работе. Его пригла-



пают в университет на завод, в институт. Никто из присутствующих не подозревает, что здесь, на выставке, они нашли поэтическое завещание поэта.

Проходит зима. Маяковский попрежнему работает, выступает, отругивается. Попрежнему ругают его в журналах благожелательные дураки или злонамеренные негодяи, попрежнему травят его люди, считающие, что им поручено руководить советской литературой. Они пытаются вбить клин между Маяковским и его читателем.

Мрачней, стиснув зубы, до хрипоты надрывая свой замечательный голос, сражается с ними Маяковский. Он утомлен. Он начинает часто прихварывать. Неудачная постановка его пьесы, вызвавшая радостное и злобное ликование врагов, глубоко удручает его. Люди, мнящие себя литературными вождями, прохвосты, имена которых теперь уже свалены в мусорную яму истории вместе со злейшими врагами революции, люди эти спешат добить поэта. А он продолжает работать неутомимо и неутолимо, не умея отдыхать, не умея освобождать вечно перегруженный мозг хоть на минуту от напряжения. Всегда и всюду носит он в себе обрывки зачатых поэм, приглянувшиеся образы, новые рифмы. Он не умеет организовать свою жизнь. И «в конце работы завком» не запирает его губы замком. Этот «завод, вырабатывающий счастье», не знает простоя и выходных дней. Непростительно пережигает он себя. Небольшая размолвка с друзьями, временный отъезд самых близких людей обрекают его на одиночество. И совпавшая с этим маленькая личная авария, которая в обычное время лишь встряхнула бы, теперь на всем ходу сбрасывает его с рельсов...

14 апреля 1930 года невероятная, непостижимая весть разносится по Москве. Люди не верят. Не может быть... Маяковский?! Который так любит жизнь! Который столько сделал для нее! Такой громкий, разве он может затихнуть? Так широко шагающий, разве он может оступиться?..


Люди бледнеют, но еще пытаются уговорить себя, что все это вздорный слух, глупая первоапрельская шутка — ведь сегодня четырнадцатое, по-старому первое апреля.

Но это не выдумка. Это убийственная и нелепая правда. Маяковский лежит у себя в рабочем кабинете на Лубянском проезде, грохнувшись после выстрела лицом вниз, наискось через всю комнату.

Он застрелился.

«Сплошное сердце» уже не гудит повсеместно... Оно оставилось, пробитое пулей.

Потрясенная, недоумевающая, идет Москва к его гробу.



Литературные заправилы попрежнему бубнят, и Маяковский-де был и будет непонятен рабочим и крестьянам. Они аккуратненько готовят обычные литературные похороны. По сотысячные толпы читателей, пришедших проводить великого поэта, валят через Москву, сметая в сторону этих предсказателей и критиков, оттирая их от гроба Маяковского.

Громада поэзии Маяковского не рухнула. Ее поддерживали миллионы рук, крепких и жадных до большого, настоящего, умного искусства.

И большое наследие Маяковского — от проникновенных строк «Облака в штанах», от знаменитых «Окон Роста» до потрясающих траурных строф, поющих величие Ленина, — страна приняла в алмазный фонд своей литературы. Маяковский хотел, «чтоб к штыку приравняли перо. С чугуном чтоб и с выделкой стали о работе стихов от Политбюро чтобы делал доклады Сталин». И он получил такое признание, которое превзошло все его мечты. Товарищ Сталин назвал Владимира Владимировича Маяковского «лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Какую еще из «поэтических слав» можно приравнять к этой?!

В Москве была Триумфальная площадь. Сейчас она называется площадью Маяковского. Широкою триумфальную площадь занимает в нашем искусстве, в нашем сознании имя Маяковского.

Под площадью Маяковского находится чудесный подземный дворец, самая красивая из станций Московского метрополитена — «Маяковская». Нержавеющей сталью отделана она. Может быть, архитектор, строивший эту станцию, не случайно выбрал для ее отделки этот суровый, скромный и благородный металл, никогда не шедший на брелоки и разменную монету. Эта сталь не боится рыжего налета времени и сырости. Строгий и негнувшийся, прочный и верный металл этот сродни стиху Маяковского.

Лев Кассиль



ქართული
ბიბლიოთეკა

ს ტ ი ლ ი

*



Маяковский — ученик школы живописи (1911).

А ВЫ МОГЛИ БЫ:

Я сразу смазал карту будня,
плеснувши краску из стакана;
я показал на блюде студня
косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
прочел я зовы новых губ.
А вы
ноктюрн сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?

ВЫВЕСКАМ

Читайте железные книги!
Под флейту золоченой буквы
полезут копченые сиги
и золотокудрые брюквы.

А если веселостью песней
закружат созвездия «Магги» —
бюро похоронных процессий
свои проведут саркофаги.

Когда же, хмур и плачевен,
загасит фонарные знаки,
влюбляйтесь под небом харчевен
в фаянсовых чайников маки!

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Слезают слезы с крыши в трубы,
к руке реки чертя полоски;
а в неба свисшиеся губы
воткнули каменные соски.

И небу — стихши — ясно стало:
туда, где моря блещет блюдо,
сырой погонщик гнал устало
Невы двугорбого верблюда.

ПОСЛУШАЙТЕ

Послушайте!
Ведь если звезды зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит —
чтоб обязательно была звезда! —
клянется —
не перенесет эту беззвездную муку?
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь если звезды
зажигают —
значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?



Маяковский (1913).

Скрипка издергалась, упрямилась,
и вдруг разревелась
так по-детски,
что барабан не выдержал:
«Хорошо, хорошо, хорошо!»
А сам устал,
не дослушал скрипкиной речи,
шмыгнул на горящий Кузнецкий
и ушел.
Оркестр чужо смотрел, как
вышлакивалась скрипка
без слов,
без такта,
и только где-то
глухая тарелка
вылягивала:
«Что это?»
«Как это?»
А когда геликон —
меднорожий,
потный,
крикнул:
«Дура,
плакса,
вытри!» —
и встал,
шатаясь полез через ноты,
сгибающиеся под ужасом пюпитры,
зачем-то крикнул:
«Боже!»
Бросился на деревянную шею.
«Знаете что, скрипка?
Мы ужасно похожи:
я вот тоже
ору —
а доказать ничего не умею!»
Музыканты смеются:
«Влип как!
Пришел к деревянной невесте.
Голова!»
А мне — наплевать!
Я — хороший.

«Знаете что, скрипка?
давайте —
будем жить вместе!
А?»



Г И М Н С У Д Ь Е

По Красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру,
рыком покрыв кандалное ржанье,
орут о родине Перу.

О рае Перу орут перуанцы,
где птицы, танцы, бабы
и где над венцами цветов померанца
были до небес баобобы.

Банан, ананасы! Радостей груды!
Вино в запечатанной посуде...
Но вот, неизвестно зачем и откуда,
на Перу наперли судьи!


И птиц, и танцы, и их перуанок
кругом обложили статьями.
Глаза у судьи — пара жестянок
мерцает в помойной яме.

Попал павлин оранжево-синий
под глаз его строгий, как пост, —
и вылинял моментально павлиний
великолепный хвост!

А возле Перу летали по прерии
птички такие — колибри;
судья поймал и пух и перья
бедной колибри выбрил.

И нет ни в одной долине ныне
гор, вулканом горящих.
Судья написал на каждой долине:
«Долина для некурящих».

В бедном Перу стихи мои даже
в запрете под страхом пыток.
Судья сказал: «Те, что в продаже,
тоже спиртной напиток».



Экватор дрожит от кандалных звонов.
А в Перу бесптичье, безлюдье...
Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи.

А знаете, все-таки жаль перуанца.
Зря ему дали галеру.
Судьи мешают и птице, и танцу,
и мне, и вам, и Перу.

ГИМН УЧЕНОМУ

Народонаселение всей империи —
люди, птицы, сороконожки,
ощетинив щетину, выперев перья,
с отчаянным любопытством висят на окошке.

И солнце интересуется, и апрель еще,
даже заинтересовало трубочиста черного
удивительное, необыкновенное зрелище —
фигура знаменитого ученого.

Смотрят: и ни одного человеческого качества.
Не человек, а двуногое бессилие,
с головой, укусанной начисто
трактатом «О бородавках в Бразилии».

Вгрызлись в букву едящие глаза, —
ах, как букву жалко!
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр
случайно попавшую в челюсти фиалку.

Искривился позвоночник, как оглоблей ударенный,
но ученому ли думать о пустяковом изъяне?
Он знает отлично написанное у Дарвина,
что мы — лишь потомки обезьяньи.

Просочится солнце в крохотную щелку,
как маленькая гноящаяся ранка,
и спрячется на пыльную полку,
где громоздится на банке банка.

Сердце девушки, вываренное в моде.
Окаменелый обломок позапозапрошлого лета.

И еще на булавке что-то вроде
засушенного хвоста небольшой кометы.



Сидит все ночи. Солнце из-за домишки
опять ослабилось на людские безобразия,
и внизу по тротуарам опять приготовишки
дейтельно ходят в гимназии.

Проходят красноухие, а ему не нудно,
что растет человек глуп и покорен;
ведь зато он может ежесекундно
извлекать квадратный корень.

Г И М Н О Б Е Д У

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдиц всяческой пици.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы —
попрежнему будут ножки у пулярд
и дышать попрежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрочки —
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка —
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, —
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и знак последний с камня серого,
ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов —
твоих четыреста тысяч».

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

По морям играя носится
с миноносцем миноносица.

Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.

И конца б не довелось ему,
благодарностью миноносьюему.

Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки.

Как взревет медноголосина:
«Р-р-р-астакая миноносина!»

Прямо ль, влево ль, вправо ль бросится,
а сбегала миноносица.

Но ударить удалось ему
по ребру по миноносьюему.

Плач и вой морями носится:
овдовела миноносица!

И чего это несносен нам
мир в семействе миноносинном?

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

(Гимн еще почтее)



Май ли уже расцвел над городом,
плачет ли, как побитый, хмуренький декабрик, —
весь год эта пухлая морда
маячит в дымах фабрик.

Брюшком обвисшим и гаденьким
лежит на воздушном откосе,
и пухлые губы бантиком
сложены в 88.

Внизу суетятся рабочие,
пиций у тумбы виден,
а у этого брюхо и все прочее —
лежит себе сыт, как Сытин.

Вкусной слюны разлились волны,
во рту громадном плещутся, как в бухте.
А полный! Боже, до чего он полный!
Сравнить если с ним, то худ и Апухтин.

Кони ли, цокая, по асфальту мчатся,
шарканье пешеходов ли подвернется под взгляд ему,
а все ему кажется: «Цаца! Цаца!» —
кричат ему, и все ему нравится, проклятому.

Растет улыбка, жирна и нагла,
рот до ушей разросся,
будто у него на роже спектакль-гала
затеяла труппа малороссов.

Солнце взойдет, и сейчас же луч его
ему щекочет пятки холеные,
и луна ничего не находит лучшего.
Объявляю всенародно: очень недоволен я.

Я спокоен, вежлив, сдержан тоже,
характер, как из кости слоновой точен,
а этому взял бы да и дал по роже:
не нравится он мне очень.



ПОСЛЕДНЯЯ ПЕТЕРБУРГСКАЯ СКАЗКА

Стоит император Петр Великий,
думает:
— «Запирую на просторе я!» —
а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».
Сияет гостиница,
за обедом обед она
дает.
Завистью с гранита снят,
слез император.
Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат.
Прохожие устремились войти и выйти.
Швейцар в поклоне не уменьшил рост.
Кто-то
рассеянный
бросил:
«Извините»,
наступив нечаянно на змеи хвост.
Император,
лошадь и змей
геловко
по карточке
спросили гренадин.
Шума язык не смолк, немея.
Из пивших и евших не обернулся ни один.
И только
когда
над пачкой соломинок
в коне заговорила привычка древняя.
толпа сорвалась, криком сломана:
— Жует!
Не знает, зачем оги.
Древняя! —
Стыдом овихрены шаги коня.
Выбелена грива от уличного газа.



Лубок работы Маяковского, посвященный свержению самодержавия (1917).

Обратно
по Набережной
гонит гиканье
последнюю из петербургских сказок.
И вновь император
стоит без скипетра.
Змей.
Унынье у лошади на морде.
И никто не поймет тоски Петра —
узника,
закованного в собственном городе.

НАШИ МАРШИ

Бейте в площади бунтов топот!
Выше гордых голов гряда!
Мы разливом второго потопа
перемоем миров города.

Дней бык пег.
Медленна лет арба.
Наш бог бег.
Сердце наш барабан.

Есть ли наших зóлот небесней?
Нас ли сжалит пули оса?
Наше оружие — наши песни.
Наше золото — звенящие голоса.

Зеленью ляг, луг,
выстели дно дням.
Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням.

Видите, скушно звезд небу!
Без него наши песни вьем.
Эй, Большая Медведица! требуй,
чтоб на небо нас взяли живьем.

Радости пей! Пой!
В жилах весна разлита.
Сердце, бей бой!
Грудь наша — медь литавр.

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Били копыта.
Пели будто:
— Гриб.
Грабь.
Гроб.
Груб. —

Ветром опита,
льдом обута
улица скользила.
Лошадь на круп
грохнулась,
и сразу
за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить,
сгрудились,
смех зазвенел и зазвякал:
— Лошадь упала! —



ქართული
ლიბრერი



Эскиз декорации к пьесе «Мистерия-Буфф». Рисунок Маяковского (1918).

— Упала лошадь! —
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
Подошел
и вижу
глаза лошадиные...

Улица опрокинулась,
течет по-своему...

Подошел и вижу —
за каплищей каплища
по морде катится,
прячется в шерсти...

И какая-то общая
звериная тоска
плеча вылилась из меня
и расплылась в шелесте.
«Лошадь, не надо.
Лошадь, слушайте —
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь».
Может быть
— старая —
и не нуждалась в няньке,
может быть, и мысль ей моя казалась пошла,
только
лошадь
рванулась,
встала на ноги,
ржанула
и пошла.
Хвостом помахивала.
Рыжий ребенок.
Пришла веселая,
стала в стойло.
И все ей казалось —
она жеребенок,
и стоило жить
и работать стоило.



Майковский-киноактер (1918).

ОДА РЕВОЛЮЦИИ



Тебе,
освистанная,
осмеянная батареями,
тебе,
изъявленная злословием штыков,
восторженно возношу
над руганью реемой
оды торжественное
«О»!
О, звериная!
О, детская!
О, копеечная!
О, великая!
Каким названьем тебя еще звали?
Как обернешься еще, двуликая?
Стройной постройкой,
грудой развалин?
Машинисту,
пылью угля овейному,
шахтеру, пробивающему толщи руд,
кадишь,
кадишь благоговейно,
славишь человеческий труд.
А завтра
Блаженный
стропила соборы
тщетно возносит, пощаду моля, —
твоих шестидюймовок тупорылые боры
взрывают тысячелетия Кремля.
«Слава»
хрипит в предсмертном рейсе.
Визг сирен придушено тонок.
Ты плешь моряков
на тонущий крейсер,
туда,
где забытый
мяукал котенок.
А после!
Пьяной толпой орала.
Ус залихватский закручен в форсе.
Прикладами гонишь седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе.



Вчерашние раны лижет и лижет,
и снова вижу вскрытые вены я.
Тебе обывательское
— о, будь ты проклята трижды! —
и мое,
поэтово
— о, четырежды славься, благословенная!

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Канителият стариков бригады
канитель одну и ту ж.
Товарищи!
На баррикады! —
баррикады сердец и душ.
Только тот коммунист истый,
кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
в будущее прыжок!
Паровоз построить мало —
накрутил колес и утёк.
Если песнь не громит вокзала,
то к чему переменный ток?
Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
ноя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща.
Это мало — построить пэрами,
распушить по штанине канты.
Все совдепы не сдвинут армий,
если марш не дадут музыканты.
На улицу тащите рояли,
барабан из окна багром!
Барабан,
рояль раскроя ли,
но чтоб грохот был,
чтоб гром.
Это что — корпеть на заводах,
перемазать рожу в копоть
и на роскошь чужую
в отдых
осовельми глазками хлопать.

РЖАНОЕ СЛОВО

РЕВОЛЮЦИОННАЯ ХРЕСТОМАТИЯ
ФУТУРИСТОВ

1918

Обложка сборника «Ржаное слово». Рисунок Маяковского (1918).



ЭЛЭНЭНЭНЭН
ЭНЭЭНЭНЭНЭН

Довольно грошовых истин.
Из сердца старое вытри.
Улицы — наши кисти.
Площади — наши палитры.
Книгой времени
тысячелистой
революции дни не воспеты.
На улицы, футуристы,
барабанщики и поэты!

ЛЕВЫЙ МАРШ

(*Матросам*)

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу истории загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Эй, синемлузые!
Рейте!
За океаны!
Или
у броненосцев на рейде
ступлены острые кили?!

Пусть,
оскалясь короной,
вздывает британский лев вой.
Коммуне не быть покоренной.
Левой!
Левой!
Левой!

Там
за горами гóря
солнечный край непочáтый.



Маяковский в фильме «Барышня и хулиган», снятом по его сценарию (1918).

За голод,
за мора море
шаг миллионный печатай!
Пусть бандой окружат нанятой,
стальной изливаются леевой —
России не быть под Антантой.
Левой!
Левой!
Левой!

Глаз ли померкнет орлий?
В старое ль станем пилиться?
Крепи
у мира на горле
пролетариата пальцы!

Грудью вперед бравою!
Флагами небо оклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ —
МАЯКОВСКИЙ

Дралось
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем.
Так и мы.
Но нас,
футуристов,
нас всего — быть может — семь.
Тех
нашли у истории в п'ялях.
Подсчитали
всех, кто сражен.
И поют
про смерть в Фермопилах.
Восхваляют, что лез на рожон.
Если петь
про залезших в щели,
меч подъявших
и павших от, —
как не петь
нас,
у мыслей в ущельи
не сдаваясь дерущихся год?
Слава вам!
Для посмертной лести
да не словит вас смерти лов.
Неуязвимые, лезьте
по скользящим скалам слов.

Пусть
хотя б по капле,
пó две
ваши души в мир вольются
и растят
рабочий подвиг,
именуемый
«Р е в о л ю ц и я».
Поздравители
не хлопают дверью?
Им
от страха
небо в овчину?
И не надо.
Сотую —
верю! —
встретим годовщину.

**НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ,
БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ
ЛЕТОМ НА ДАЧЕ**

*(Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст
по Ярославской жел. дор.)*

В сто сорок солнц закат пылал.
В июль катилось лето.
Была жара,
жара плыла,
на даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы — деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра.
И в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз
медленно и верно.

А завтра
снова
мир залить
вставало солнце ало,
и день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в страхе все поблекло,
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
довольно шлаться в пекло!»
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
занежен в облака ты,
а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуй плакаты!»
Я крикнул солнцу:
«Погоди!
послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал!
Я погиб!
Ко мне,
по доброй воле,
само,
раскинув луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать —
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже проходит садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса,
ввалилось;
дух переведа,
заговорило басом:

34736320
3123171033

ИСКУССТВО КОММУНЫ

Выдана Отделом Информационного Управления Комиссариата Народного Просвещения. Цена 50 коп.
№ 1. Ленинград, Коммуналы, 12 января 1919 г. № 1.

НАШ БОГ БЕГ
СЕРДЦЕ НАШ БАРАБАН.

Имя мое

Должно согласиться!

Номер газеты «Искусство коммуны», выходящей при участии Маяковского (1919).

«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони,
гони, поэт, варенье!»
Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —
на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»
Чорт дернул дерзости мои
орать ему, —
skonфужен
я сел на уголок скамьи,
боюсь — не вышло б хуже!
Но странная из солнца ясь
струилась, —
и, степенность
забыв,
сизу, разговорясь
с светилом постепенно.

Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста,
а солнце:
«Ладно,
не горюй,
смотри на вещи просто!
А мне, ты думаешь,
светить
легко?
— Поди попробуй! —
А вот идешь —
взялось итти,
идешь — и светишь в оба!»
Болтали так до темноты —
до бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут?
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.
И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я.
Нас, товарищ, двое!
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнце лить свое,
а ты — свое,
стихами».
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Стихов и света кутерьма —
сияй во что попало!
Устанет то,
и хочет ночь
прилечь,
тухая сонница.
Вдруг — я
во всю светаю мочь —
и снова день трезвонится.



ქართული
ენობის ეროვნული
ბიბლიოთეკა

ВСЕ

СОЧИНЕННОЕ

**ВЛАДИМИРОМ
МАЯКОВСКИМ**

1909—1919

Обложка сборника «Все сочиненное Владимиром Маяковским» (1919).

Светить всегда,
светить везде,
до дней последних донца,
светить —
и никаких гвоздей!
Вот лозунг мой —
и солнца!

ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ

Молнию метнула глазами:
«Я видела —
с тобой другая.
Ты самый низкий,
ты подлый самый...» —
И пошла,
и пошла,
и пошла, ругая.
Я ученый малый, милая,
громыханья оставьте ваши.
Если молния меня не убила —
то гром мне,
ей-богу, не страшен.

ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Этот вечер решал —
не в любовники выйти ль нам? —
темно,
никто не увидит нас.
Я наклонился действительно,
и действительно
я,
наклонясь,
сказал ей,
как добрый родитель:
«Страсти крут обрыв —
будьте добры,
отойдите.
Отойдите,
будьте добры».

ОКНО САТИРЫ РОСТА №187.

1) КРАСИВУЮ МЕДИ
 СЕБЕ НА НОСУ —
 А ТЕ УТО ВАМЫ И
 РАШЕЛИ НАРОДУ
 НЕСТ



2) ЗЕМЛЯ НАРОДУ



4) БЕЗДОМНЫМ ПО ЖИЛЦУ



3) РАБОЧИМ СВОБОДУ




6) ТАКИЕ БЕЛОУВАР-
 ДЕНЩИНА НЕ ПО-
 КОРАЙСЯ ЕЙ, БЫ?



5) ГОЛОДНЫМ ПИЩУ



Плакат Роста. Текст и рисунки Маяковского (1920).



РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА
О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

(Старая, но полезная история)

Врангель прет.

Отходим мы.

Врангелю удача.

На базаре

две кумы,

ставши в хвост, судачат:

«Кум сказал, —

а в ём ума —

я-то куму верю, —

что барон-то,

слышь, кума,

меж Москвой и Тверью.

Чуть не даром

всё

в Твери

стало продаваться.

Пуд крупчатки...

— Ну

не ври! —

...пуд за рупь за двадцать.

А вина — скажу я вам!

Дух над Тверью водочный.

Пьяных

лично

по домам

водит околочный.

Влюблены в барона власть

левые и правые.

Ну не власть, а прямо сласть —

просто — равноправие».

Встали, ртом ловя ворон.

Скоро ли примчится?

Скоро ль будет царь-барон

и белая мучица?

Шел волшебник мимо их.

«Нá, — сказал он бабе, —

скороходы-сапоги,

к Врангелю зашла бы!»



Вмиг обувшись,
шага в три
в Тверь кума на это.
Кум сбрыхнул ей:
во Твери
власть стоит Советов.
Мчала баба суток пять,
рвала юбки в ветре,
чтоб баронский
увидать
флаг
на Ай-Петри.
Разогнавшись с дальних стран,
удержаться силась,
баба
прямо
в ресторан
в Ялте опустилаь.

В «Грандотеле»
семгу жрет
Врангель толсторожий.
Разевает баба рот
на рыбешку тоже.
Метрдотель
желанья те
зрит —
и на подносе
ей
саженный метрдотель
карточку подносит.
Всё в копеечной цене.
Съехал сдуру разум.
Молвит баба:

«Дайте мне
всю программу разом!»
От лакеев мчится пыль.
Прошибает пот их.
Мчат котлеты и супы,
вина и компоты.
Уж из глаз еда течет
у разбухшей бабы!
Наконец-то
просит счет
бабин голос слабый.



Плакат Роста работы Маяковского (1920).

Вся собралась публика.
 Стали щелкать счеты.
 Сто четыре рублика
 выведено в счете.
 Что такая сумма ей?!
 Даром!

С неба манна.
 Двести вынула рублей
 баба из кармана.
 Отскочил хозяин.

«Нет!

(Бледность мелом в розе.)



Наш-то рупь не в той цене
 Наш в мильон дорожке».

Завопил хозяин, лют:
 «Знаешь разницу валют?!

Беспортошных нету тут,
 генералы тута пьют».

Возопил хозяин в яри:

«Это, тетка, что же!

Этак

каждый пролетарий
 жрать захочет тоже». —
 «Будешь знать, как есть и пить!»
 все завыли в злости.
 Стал хозяин тетку бить,
 метрдотель
 и гости.

Околодочный
 на шум
 прибежал из части.

Взвыла баба:
 «Ой,
 прошу,
 защитите, власти!»

Как подняла власть сия
 с шпорой сапожица...
 Как полезла
 мигом
 вся

вспять
 из бабы
 пицца.

«Много, — молвит, — благ в Крыму —
 только для буржуя,
 а тебя,

мою куму,
 в часть препровожу я».

Влезла
 тетка
 в скороход
 пред тюремной дверью.
 Как задала тетка ход —
 в Эрэсэфесерию.

ОКНО САТИРЫ РОСТА № 70

საქართველოს
საზოგადოებრივი



1) ТОВАРИЩИ, НЕ ПОДАВАЙ.
ТЕСЬ ПАНИКЕ ОНА
ДЕЛАЕТ ОБЫКНОВЕННО
ИЗ МУХИ СЛОНА



2) И ВОТ СЛЕДСТ-
ВИЕ ЭТОГО



3) НО И ВОСТРО ДЕРЖАТЬ
УХО.
ЧТОБ ИЗ СЛОНА НЕ
ПОЛУЧИЛАСЬ МУХА.



4) СЛЕДСТВИЕ
ЭТОГО ТАКОЕ.



5) БЕЗ ВСЯКОЙ ПАНИКИ, НО И НЕ ЗРЯ РЕЗКО
ИДИТЕ НА ФРОНТ ХЛАДНОКРОВНО И ТРЕЗВО.

Плакат Роста работы Маяковского (1920).



Бабу видели мою,
наши обыватели?
Не хотите

в том раю
сами побывать ли?!

**ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ,
НЕ ПРИЗНАЮЩЮЮ РЕСПУБЛИКИ**

Сья история была
в некоей республике, —
баба на базар плыла,
а у бабы бублики.
У ларьков наполнен рот,
все в ларьке имеется.
В это время на фронт
шли красноармейцы.
Кушать хотца одному,
говорит он:

«Тетя,
бублик дай голодному,
вы ж на фронт нейдете!
Коль без дела будет рот,
буду слаб, как мощи.
Пан республику сожрет,
если будем тощи!»
Баба молвила: «Ни в жисть
не отдам я бублики.
Прочь, служивый, отвяжись,
чорта ль мне в республике!»

Шел наш полк и худ и тощ,
паны ж все — саженные.
Нас смела панова мощь
в первом же сражении.
Мчится пан и лют и яр,
смерть неся рабочим.
К глухой бабе на базар
влез он между прочим.
Видит пан — бела, жирна
баба между публики.
Миг — и съедена она.
И она и бублики.

Вопрос об электрификации поставлен в порядок дня съезда
мы при крупном переломе: на трибуне Всероссийских съез-
дов будут появляться не только политики но и инженеры.



1 Мы захгли над
миром истину эту.



2 Эта истина разнеслась
по всему свету.



3 Теперь нам нужны
огни эти.



4 Пусть этот огонь Россию
осветит!

Посмотри, на площадь выдь:
ни крестьян, ни ситника.
Надо во-время кормить
красного защитника.
Так кормите ж красных рать,
хлеб носи без вою,
чтобы хлеб не потерять
вместе с головою.

К Р А С Н Ы Й Е Ж

Голой рукою нас не возьмешь.
Товарищи — все под ружья!
Красная Армия — Красный еж, —
железная сила содружия.

Рабочий, на фабрике куй как куешь,
Деникина день сосчитан.
Красная Армия — Красный еж, —
верная наша защита.

Крестьяне, спокойно сейте рожь,
час Колчака сосчитан:
Красная Армия — Красный еж, —
лучшая наша защита.

Врангель занес на коммуну нож,
баронов срок сосчитан.
Красная Армия — Красный еж, —
не выдаст наша защита.

Назад, генералы, нас не возьмешь!
Наземь кидайте оружие.
Красная Армия — Красный еж, —
железная сила содружия.

В Л А Д И М И Р И Л Ь И Ч !

Я знаю —
не герои
низвергают революций лаву.
Сказка о героях —
интеллигентская чушь!

Но кто ж
удержится,
чтоб славу
нашему не воспеть Ильичу?

Ноги без мозга — вздорны.
Без мозга
рукам не дело.
Металось
во все стороны
мира безголовое тело.
Нас продавали на вырез.
Военный вздымался вой,
когда
над миром
вырос
Ленин
огромной головой.
И земли
сели на оси.
Каждый вопрос — прот.
И выяснилось
два
в хаосе
мира
во весь рост.
Один —
животище на животище.
Другой —
непреклонно скалистый —
влил в миллионы тыщи.
Встал
горой мускулистой.

Теперь
не промахнемся мимо.
Мы знаем, кого мети!
Ноги знают,
чьими
трупами
им итти.

Нет места сомненьям и воям.
Долой улитье — «пождем»!

КРЕСТЬЯНИН ТАК ВСТРЕЧАЙ ВРАНГЕЛЯ



1. КРЕСТЬЯНИН ЕСЛИ ЖДЕШЬ ВРАНГЕЛЯ



2. КАК С НЕБА АНГЕЛА



3. ВСПОМНИ СКАЗКУ
ПРО БАРСКУЮ ЛАСКУ



4. ВОЗЬМЕТ



5. ПОСАДИТ.



6. ПО ГОЛОВКЕ ПОГЛАДИТ



7. ПОПРОСИТ,
ЧТОБ ПЕСЕНКУ СПЕЛИ.



8. И ЗЕМЛЯЦЕН НАДЕЛАЕТ.



9. И ТЫ ЕГО ПОРЯДУИ
ВРИМИ ТАКИМ ПАРАДОМ

Плакат Ростга работы Маяковского (1920).

Руки знают,
кого им
крыть смертельным дождем.

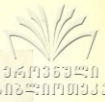
Пожарами землю дýмя,
езде,
где народ исплѣнен,
взрывается
бомбой
имя:
Ленин!
Ленин!
Ленин!

И это —
не стихов вееру
обмахивать высокий уют. —
Я
в Ленине
мира веру
славлю
и веру мою.

Поэтом не быть мне бы,
если б
не это пел —
в звездах пятиконечных небо
безмерного свода РКП.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Слава тебе, красноезвездный герой!
Землю кровью вымыв,
во славу коммуны,
к горе за горой
шедший твердынями Крыма.
Они проползали танками рвы,
выпятив пушек шеи, —
телами рвы заполняли вы,
по трупам пройдя перешеек.
Они
за окопом взрыли окоп,
хлестали свинцовой рекою, —
а вы
отобрали у них Перекоп
чуть не голой рукою.



ОКНО САТИРЫ РОСТА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ НОМЕР

БУРЖУЯМ ЕЛКИ РОСТА
ПОД РОЖДЕСТВО
ПОДАРКОВ ДАРИТ ПО СТО
ПОЖАЛТЕ ! ВО !



КАК И У ВСЯКИХ ЕЛОК
У НАШЕЙ ЕЛКИ
ТЬМА ТЬМУШАЯ ИГОЛОК
И ОЧЕНЬ КОЛКИ.



КРАСИВ И РАСЗЛОАЧЕН
НО ТОЛЬКО - ЭХ !
ДЛЯ ЗУБ БУРЖУЯ ОЧЕНЬ
ТЯЖЕЛ ОРЕХ



ВОТ ЭТО БЕЛЫХ ПУШКИ
ИЗ НИХ ПОКА
ВЕСЬ ТОЛК КАК ИЗ ХЛОПУШКИ
ДВА КОЛПАКА



ИГРУШКИ ВСЕ ИЗЛОМАНЫ
ТЕПЕРЬ ВЗЯВ СТВОЛ
СЛЕТКА ПОГЛАДЬ ЧТОС ПОМНИ
ПРО РОЖДЕСТВО



ОТ НАШЕЙ ЕЛКИ ВЫИДЯ
ПОМЯТ И ВЗДУТ
ГРЕТ ШАПКУ ЛИШЬ ЗАВИДА,
БУРЖУИ, ЗВЕЗДУ.

Плакат Роста работы Маяковского (1920).

Не только тобой завоеван Крым
и белых разбита орава, —
удар твой двойной:
завоевано им
трудиться великое право.
И если
в солнце жизнь суждена
за этими днями хмурыми,
мы знаем —
вашей отвагой она
взята в переконском штурме.



В одну благодарность сливаем слова
 тебе,
 красноезвездная лава.
 Во веки веков, товарищи,
 вам —
 слава, слава, слава!

О ДРЯНИ

Слава, слава, слава героям!!!
 Впрочем,
 им
 довольно воздали дани.
 Теперь
 поговорим
 о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
 Подернулась тинной советская мешанина.
 И вылезло
 из-за шины РСФСР
 мурло
 мешанина.

(Меня не поймаете на слове,
 я вовсе не против мешанского сословия.
 Мещанам
 без различия классов и сословий
 мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив
 с первого дня советского рождения
 стеклись они,
 наскоро оперенье переменяв,
 и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
 крепкие, как умывальники,
 живут и поныне —
 тише воды.
 Свили уютные кабинеты и спальни.

И вечером
 та или иная мразь
 на жену,
 за пианином обучающуюся, глядя,

Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

150.000.000



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1921

Обложка первого издания поэмы Маяковского «150.000.000».

говорит,
от самовара разморюсь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка —
24 тыщи.
Тариф.
Эх,
и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолка
верещала
оголтелая канарейца.

Маркс со стенки смотрел, смотрел...
И вдруг
разинул рот
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити!
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните —
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

**СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ
И О ВСЕРОССИЙСКОМ МАСШТАБЕ**

Сапоги почистить — 1 000 000.
Состояние!
Раньше б дом купил —
и даже неплохой.

Привыкли к миллионам.
Даже до луны расстояние
советскому жителю кажется чепухой.



Дернул меня чорт
писать один отчет.
«Что это такое?»
спрашивает с тоскою
машинистка.
Ну что ответчу ей?!
Чорт его знает, что это такое,
если сзади
у него
тридцать семь нулей.
Недавно уверяла одна дура —
что у нее
тридцать девять тысяч семь сотых температура.
Так привыкли к этим числам,
что меньше сажени число и не мыслим.
И нам,
если мы на митинге ревим,
рамки арифметики, разумеется, узки —
всё разрешаем в масштабе мировом.
В крайнем случае — масштаб общерусский.
«Электрификация!?» — масштаб всероссийский.
«Чистка!» — во всероссийском масштабе.
Кто-то
даже,
чтоб избежать переписки,
предлагал —
сквозь землю
до Вашингтона кабель.

Иду.
Мясницкая.
Ночь глуха.
Скачу трясогузкой с ухаба на ухаб.
Сзади с тележкой баба.
С вещами
на Ярославский
хлюпает по ухабам.
Сбивают ставшие в хвост на галоши;
то грузовик обдаст,
то лошадь.

Балансируя
— четырехлетний навык! —
тацусь меж канавиц,
канав,
канавок.

И то
— на лету вспоминая маму —
с размаху
у почтамта
плюхаюсь в яму.
На меня тележка.
На тележку баба.
В грязи ворочаемся с боку на бок.
Что бабе масштаб грандиозный наш?
Бабе грязью обдало рыло,
и баба,
взбираясь с этажа на этаж,
сверху
и меня
и власти крыла.

Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен,
но, натолкнувшись на эти низы,
даже я запнулся, сконфужен.
Я
на сложных агитвопросах рос,
а вот
не могу объяснить бабе,
почему это
о грязи
на Мясницкой
вопрос
никто не решает в общемясницком масштабе!

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Это вам —
упитанные баритоны,
от Адама
до наших лет
потрясаемые театрами именуемые притоны
ариями Ромеов и Джульетт.

Это вам —
центры,

ՀԱՄԵՆԻ
ՆՈՅՆՈՐՈՅՅ

РАССКАЗ ПРО ТО

как **КУМА**


О ВРАНГЕЛЕ

ТОЛКОВАЛА



СТАРАЯ, НО ПОЛЕЗНАЯ ИСТОРИЯ

Рисунок Л. Лисицкого к стихотворению «Рассказ про то, как кума...» в книге «Маяковский для голоса» (1923).



раздобревшие, как кони,
жрущая и ржущая Россия краса,
прячущаяся мастерскими,
по-старому драконя
цветочки и телеса.

Это вам —
прикрывшиеся листиками мистички,
лбы морщинками изрыв, —
футуристки,
имажинистки,
акменистки,
запутавшиеся в паутине рифм.

Это вам —
на растрепанные сменившим
гладкие прически,
на лапти — лак,
пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак.

Это вам —
пляшущие, в дуду дующие,
и открыто предающиеся
и грешащие тайком,
рисующие себе грядущее
огромным академическим пайком.
Вам говорю

я —
гениален я или не гениален,
бросивший безделушки
и работающий в Росте,
говорю вам —
пока вас прикладами не прогнали:
Бросьте!

Бросьте!
Забудьте,
плюньте
и на рифмы,
и на арии,
и на розовый куст,
и на прочие мерехляндии
из арсеналов искусств.

Кому это интересно,
что — «Ах, вот бедненький!
Как он любил
и каким он был несчастным...»?
Мастера,
а не длинноволосые проповедники
нужны сейчас нам!
Слушайте!
Паровозы стонут,
дует в щели и в пол:
«Дайте уголь с Дону!
Слесарей,
механиков в депо!»

У каждой реки на истоке,
лежа 'с дырой в боку,
пароходы провыли доки:
«Дайте нефть из Баку!»

Пока канителюм, спорим,
смысл сокровенный ища:
«Дайте нам новые формы!» —
несется вошь по вещам.

Нет дураков,
жда, что выйдет из уст его,
стоять перед «маэстрами» толпой разинь.
Товарищи,
дайте новое искусство —
такое,
чтобы выволочь республику из грязи.

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходится народ в учрежденья.
Обдают дождем дела бумажные,
чуть войдешь в здание:



отобрав с полсотни —
самые важные! —
служащие расходятся на заседания.

Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени она». —
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать —
Объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели притти вам.
Заседают: —
Покупка склянки чернил
Губкооперативом».

Через час
ни секретаря,
ни секретарши нет —
голо!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.

Снова взбираюсь, глядя на ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» —
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».

Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья дорбогой изрыгая,
и вижу:
сидят людей половины.
О, дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь оря.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.



Эй, рабочий,
Руть твоя!
Возроди и пользуй!
Все добудь своей рукой —
сапоги,
рубаху!
Так махни ж, шахтер, киркой —
бей по углю смаху!..”

И призыв горячий мой
не дослушав даже,
забывать пошли забой,
что ни день — то сажень.
Сгреб отгребщик уголь вон,
вбил крепильщик клетки,
а по штрекам

коногон
гонит вагонетки.



Рисунки Маяковского к его стихотворению «Сказка для шахтера-друга» (1921).

В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится разорваться!
До пояса здесь,
а остальное
там».

С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»

П А Р И Ж

(Разговорчики с Эйфелевой башней)

Обшаркан миллионом ног.
Ишелестен тыщей шин.
Я борозжу Париж —
до жути одинок,
до жути ни лица,
до жути ни души.
Вокруг меня —
авто фантастят танец,
вокруг меня
из зверорыбных морд —
еще с Людовиков —
свистит вода, фонтанясь.
Я выхожу
на Place de la Concorde.
Я жду,
пока,
подняв резную главку,
домовьей слезкою умаяна,
ко мне,
к большевику,
на явку
выходит Эйфелева из тумана.
«Тш-ш-ш,
башня,

тише шлепайте! —
увидят!
Луна — гильотинная жуть.
Я вот что скажу
(пришпилился в шопоте,
ей
в радиоухо
шепчу,
жужжу).
Я разагитировал вещи и здания.
Мы —
только согласия вашего ждем,
башня —
хотите возглавить восстание?
Башня —
мы
вас выбираем вождем!
Не вам —
образцу машинного гения —
здесь
таять от аполлинеровских вирш.
Для вас
не место — место гниения —
Париж проституток,
поэтов,
бирж.
Метро согласились.
Метро со мною, —
они
из своих облицованных нутр
публику выплюют —
кровью смоят
со стен
плакаты духов и пудр.
Они убедились —
не ими литься
вагонам богатых.
Они не рабы!
Они убедились —
им
более к лицам
наши афиши,
плакаты борьбы.
Башня —
улиц не бойтесь!



УДК 62-72

302.3(07)01333

Если
метро не выпустит уличный грунт
грунт
исполосуют рельсы.
Я поднимаю рельсовый бунт.
Бойтесь?
Тракторы заступятся стаями.
Бойтесь?
На помощь придет рив-гош.
Не бойтесь!
Я уговорился с мостами.
Вплывь
реку
переплыть
не легко ж!
Мосты,
распалась от движения злого,
подымутся враз с парижских боков.
Мосты забунтуют
по первому зову —
прохожих ссыплют на камень быков.
Все вещи вздыбятся.
Вещам невагоду.
Пройдет
пятнадцать лет
иль двадцать,
обдрябнет сталь,
и сами
вещи
тут
пойдут
Монмартрами на ночи продаваться.
Идемте, башня,
к нам!
Вы —
там,
у нас,
нужней!
Идемте к нам!
В блестеньи стали,
в дымах —
мы встретим вас.
Мы встретим вас нежней,
чем первые любимые любимых.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ



Обложка журнала «БОБ» («Боевой отряд весельчаков») работы Маяковского (1921).

Идем в Москву!

У нас
в Москве
простор!

Вы

— каждой! —

будете по улице иметь.

Мы

будем холить вас:

раз сто

за день

до солнц расчистим вашу сталь и медь.

Пусть

город ваш,

Париж франтих и дур,

Париж бульварных ротозеев,

кончается один, в сплошной складбищась Лувр,

в старье лесов Булонских и музеев.

Вперед

шагни четверкой мощных лап,

прибитых чертежами Эйфеля,

чтоб в нашем небе твой израдило лоб,

чтоб наши звезды пред тобою сдрейфили!

Решайтесь, башня, —

нынче же вставайте все,

разворотив Париж с верхушки и до низу!

Идемте!

К нам!

К нам, в РСФСР!

Идемте к нам —

я

вам достану визу!»

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Тенью истемня весенний день,

выклеен правительственный бюллетень.

Нет!

Не надо!

Разве молнии велишь

не литься?

Нет!

Не оковать язык грозы!

Вечно будет

тысячестраничный

**МАЯКОВСКИЙ
УЛЫБАЕТСЯ
МАЯКОВСКИЙ
СМЕЕТСЯ
МАЯКОВСКИЙ
ИЗДЕВАЕТСЯ**

Обложка книги Маяковского работы А. Родченко (1923).



грохотать
 набатный
 ленинский язык.
 Разве гром бывает немостою болен?!
 Разве сдержишь смерч,
 чтоб вихрем не кипел?!

Нет!
 Не ослабеет ленинская воля
 в миллионосильной воле ВКП.
 Разве жар
 такой
 термометрами меряется?
 Разве пульс
 такой
 секундами гудит?!
 Вечно будет ленинское сердце
 kloкотать
 у революции в груди.

Нет!
 Нет!
 Не-е-т...
 Не хотим,
 не верим в белый бюллетень.
 С глаз весенних
 сгнись, навязчивая тень!

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Страшное у меня горе.
 Вероятно —
 лишусь сна.
 Вы понимаете,
 вскоре
 в РСФСР
 придет весна.
 Сегодня
 и завтра
 и веков испокон
 шатается комната —
 солнца пропойца.
 Невозможно работать.
 Определенно беспокоен.
 А ведь, откровенно говоря, —
 совершенно не из-за чего беспокоиться.

СХЕМА СМЕХА

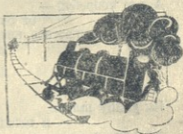
საქართველოს
საბავშვო ჟურნალი

№ 1 - 1923 წელი



1. Был реку и во тьме о нем,
Вспомне в сердце проку нам.

2. Был нам баба с мешком
Шла впереводном.



3. А проку в сел в фары,
Встал во тьме карус с Оми,

4. Вспомне во переводном
Вспомне в тьме проку.



5. Баба во тьме проку
Зна проку сел впереводном.

6. За тьме проку с фары
И сел проку сел впереводном.



7. Уми во тьме проку
Уми во тьме проку.

8. За тьме проку с фары
Вспомне во тьме проку.



9. Тьме проку во тьме проку
Муха с баба проку.

10. Мы дом Тьме проку,
Вспомне во тьме проку.



11. Тьме проку во тьме проку
А тьме проку во тьме проку.

12. За тьме проку с фары
Вспомне во тьме проку.

13. Тьме проку во тьме проку
Вспомне во тьме проку.

14. Тьме проку во тьме проку
Вспомне во тьме проку.

Рисунки Маяковского к его стихотворению «Схема смеха» в журнале «Огонек» (1923).



Если подойти серьезно — так-то оно так.
 Солнце посветит — и пройдет мимо.
 А вот попробуй — от окна оттяни kota.
 А если и животное интересуется
 улицей,
 то мне
 это —
 просто необходимо.

На улицу вышел и встал в лени я,
 не в силах... не сдвинуть с места тело.
 Нет совершенно ни малейшего представления,
 что ж теперь, собственно говоря, делать?!
 И за шиворот и по носу
 каплет безбожно.

Слушаешь. Не смахиваешь.
 Будто стих.

Юридически — куда хочешь идти можно,
 но фактически — сдвинуться
 никакой возможности.

Я, например, считаю хорошим поэтом.

Ну, скажем, могу доказать:
 «самогона — большое зло».

А что про это? Чем про это?

Ну нет совершенно никаких слов.
 Например: город советские служащие искрапили,
 приветствуй весну,
 ответь салютно!

Разучились — нечем ответить на капли.

Ну не могут сказать —

ни слова.

Абсолютно!

Стали вот так вот —

смотрят рассеянно.

Наблюдают —

скалывают дворники лед.

Под башмаками вода.

Бассейны.

Сбоку брызжет.

Сверху льет.

Надо принять какие-то меры.

Ну, не знаю что —

например:

выбрать день

самый синий,

и чтоб на улицах

улыбающиеся милиционеры

всем

в этот день

раздавали апельсины.

Если это дорого —

можно выбрать дешевле,

проще.

Например:

чтоб старики,

безработные,

неучащаяся детвора

в 12 часов

ежедневно

собирались на Советской площади,

тремякратно кричали б:

ура!

ура!

ура!

Ведь все другие вопросы

более или менее ясны.

И относительно хлеба ясно

и относительно мира ведь.

Но этот

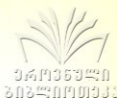
кардинальный вопрос

относительно весны

нужно

во что бы то ни стало

теперь же урегулировать.



Ленин — жив.
Ленин — будет жить.
Ленин — жив
шаганьем Кремля —
вождя капиталовых пленников,
будет жить, и будет
земля
гордиться именем
Ленина.
Еще по миру
пройдут мятежи;
сквозь все межи
коммуне путь проложить.
Ленин — жил.
Ленин — жив.
Ленин — будет жить.
К сведению смерти,
старой карги,
гонящей в могилу
и старящей:
«Ленин» и «Смерть» —
слова-враги.
«Ленин» и «Жизнь» —
товарищи.
Тверже печаль держи.
Грудью в горе прилив.
Нам — не нуть.
Ленин — жил.
Ленин — жив.
Ленин — будет жить.

Ленин
рядом.
Вот

он.

Идет
и умрет с нами.
И снова
в каждом рожденном рожден —
как сила,
как знанье,
как знамя

Земля,
под ногами дрожи.
За все рубежи
слова —
взвивайтесь кружить.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.

Ленин ведь
тоже
начал с азов, —
жизнь —
мастерская геньина.
С низа лет,
с класса низов —

рвись
разгроматиться в Ленина.
Дрожите, дворцов этажи!
Биржа нажив,
будешь,
битая,
выть.

Ленин —
жил.
Ленин —
жив.
Ленин —
будет жить.



Ленин —
 Больше
 самых больша.

но даже
 и это
 диво
создали всех времен
 малыши —

мы,
 малыши коллектива.

Мускул
 узлом вяжи.
Зубы — ножи
в знанье.

Вонзай крошить.

Ленин —
 жил.

Ленин —
 жив.

Ленин —
 будет жить.

Строит,
 рушит,
 кроит
 и рвет,

тихнет,
 кипит
 и пенится,

гудит,
 молчит,
 говорит
 и ревет —

юная армия:
 ленинцы.

Мы
 новая кровь
 городских жил,

тело нив,
ткацкой идей
 нить.

Ленин —
 жил.

Ленин —
 жив.

Ленин —
 будет жить.



Маяковский с собакой Сотином (1924).

ЮБИЛЕЙНОЕ

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,

разрешите представиться.

МАЯКОВСКИЙ.

Дайте руку!

Вот грудная клетка.

Слушайте,

уже не стук, а стон;

тревожусь я о нем,

в щенка смиренном львенке.

Я никогда не знал,

что столько

тысяч тонн

в моей

позорно легкомыслрой головенке.

Я тащу вас.

Удивляетесь, конечно?

Стиснул?

Больно?

Извините, дорогой.

У меня,

да и у вас

в запасе вечность.

Что нам

потерять

часок-другой?!

Будто бы вода —

давайте

мчать болтая,

будто бы весна —

свободно

и раскованно!

В небе вон

луна

такая молодая,

что ее

без спутников

и выпускать рискованно.

Я

теперь

свободен

от любви

и от плакатов.





ЭЛЕКТРОННАЯ
ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА

Шкурой
ревности медведь
лежит когтист.

Можно
убедиться,
что земля поката, —
сядь
на собственные ягодицы
и катись!

Нет,
не навяжусь в меланхолишке черной,
да и разговаривать не хочется
ни с кем.

Только
жабры рифм
топырит учащенно
у таких, как мы,
на поэтическом песке.

Вред — мечта,
и бесполезно грезить,
надо
весть
служебную нуду.

Но бывает —
жизнь
встает в другом разрезе,
и большое
понимаешь
через ерунду.

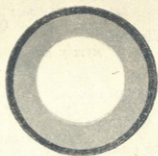
Нами
лирика
в штыки
неоднократно атакована,
ищем речи
точной
и нагой.

Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой.

Например,
вот это —
говорится или блеется?

Синемордое,
в оранжевых усах,

М
ДЛЯ ГОЛОСА
МАЯКОВСКИЙ



Обложка книги Маяковского «Маяковский для голоса» работы
Л. Лисицкого (1923).

Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».
Дайте нам стаканы!
Знаю
способ старый —
в горе
дуть винище,
но смотрите —
из
вышывают
Red и White Star'ы
с ворохом
разнообразных виз.
Мне приятно с вами, —
рад,
что вы у столика.
Муза это
ловко
за язык вас тянет.
Как это
у вас
говаривала Ольга?..
Да не Ольга!
из письма
Онегина к Татьяне.
«Дескать,
муж у вас
дурак
и старый мерин,
я люблю вас,
будьте обязательно моя,
я сейчас же
утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я».
Было всякое:
и под окном стояние,
письма,
тряски нервное желе.
Вот
когда
и горевать не в состоянии —
это,
Александр Сергенч,
много тяжелей.

Айда, Маяковский!
Маячь на юг!
Сердце
рифмами вымучь —
вот
и любви пришел каюк,
дорогой Владим Владимыч.
Нет,
не старость этому имя!
Тушу
вперед стремя,
я
с удовольствием
справлюсь с двоими,
а разозлить —
и с тремя.
Говорят —
я темой и-и-д-и-в-и-д-у-а-л-е-и!
Entre nous...
чтоб цензор не нацикал.
Передам вам —
говорят —
видали
даже
двух
влюбленных членов ВЦИКа.
Вот —
пустили сплетню,
тешат душу ею.
Александр Сергееч,
да не слушайте ж вы их!
Может,
я
один
действительно жалею,
что сегодня
нету вас в живых.
Мне
при жизни
с вами
сговориться б надо.
Скоро вот
и я
умру
и буду нем.

После смерти
нам
стоять почти что рядом:
вы на Пе,
а я
на эМ.
Кто меж нами?
С кем велите знаться?!
Чересчур
страна моя
поэтами нищя.
Между нами
— вот беда —
позатесался Надсоп.
Мы попросим,
чтоб его
куда-нибудь
на Ща!
А Некрасов,
Коля,
сын покойного Алеша, —
он и в карты,
он и в стих,
и так
неплох на вид.
Знаете его?
Вот он
мужик хороший,
этот
нам компания —
пускай стоит.
Что ж о современниках?!
Не просчитались бы,
за вас
полсотни отдав,
От зевоты
скулы
разворачивает аж!
Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой однородный пейзаж!
Ну Есенин,
мужиковствующих свора.

Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!
Надо,
чтоб поэт
и в жизни был мастак.
Мы крепки,
как спирт в полтавском штофе.
Ну, а что вот Безыменский?!
Так...
ничего...
морковный кофе.
Правда,
есть
у нас
Асеев
Колька.
Этот может.
Хватка у него
моя.
Но ведь надо
заработать сколько!
Маленькая,
но семья.
Были б живы —
стали бы
по Лефу соредактор.
Я бы
и агитки
вам доверить мог.
Раз бы показал:
«Вот так-то, мол,
и так-то...»
Вы б смогли —
у вас
хороший слог.
Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам.

(Я даже
яблом подсюсюкнул,
чтоб только
быть
приятней вам.)
Вам теперь
пришлось бы
бросить ямб картавый.
Нынче
наши перья —
штык
да зубья вил, —
битвы революций
посерьезнее «Полтавы»,
и любовь
пограндиознее
онегинской любви.
Бойтесь пушкинистов.
Старомозгий Плюшкин,
перышко держа,
полезет
с перержавленным.
«Тоже, мол,
у лефов
появился
Пушкин.
Вот арап!
А состязается —
с Державиным...»
Я люблю вас,
но живого,
а не мумию.
Навели
хрестоматийный глянec.
Вы,
по-моему,
при жизни
— думаю —
тоже бушевали.
Африканец!
Сукин сын Дантес!
Великосветский шкода.
Мы б его спросили:
«А ваши кто родители?
Чем вы занимались
до 17-го года?»

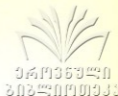


ქართული
ნაციონალური
ბიბლიოთეკა



Маяковский. Фото А. Родченко (1924).

СЕВАСТОПОЛЬ—ЯЛТА

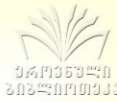


В авто
 насажали
 разных армян,
 рванулись --
 и мы в пути.
 Дорога до Ялты
 будто роман:
 все время
 надо крутить.
 Сначала
 авто
 подступает к горам,
 охаживая краяевые.
 Вот так и у нас
 влюбленья пора:
 наметишь —
 и мчишь, ухаживая.
 Авто
 начинает
 по солнцу трясти,
 то жареней ты,
 то варёней;
 так сердце
 тебе
 распалает страсть
 и грудь —
 раскаленной жаровней.
 Привал,
 шашлык,
 не вяжешь лык,
 с кружением
 нету сладу.
 У этих
 у самых
 гроздьев шашлы —
 совсем поцелуйная сладость.
 То солнечный жар,
 то уцелий тоска, —
 не верь
 ни единой версийке.
 Который москит
 и который мускат,



и кто персюки
и персики?
И вдруг вопьнешься,
любовью залив
и душу,
и тело,
и рот.
Так разом
встают
облака и залив
в разрыве
Байдарских ворот.
И сразу
дорога
нудней и нудней,
в туннель,
тормозами тужась.
Вот куча камня,
и церковь над ней —
ужасом
всех супружеств.
И снова
почти
о скалы скулой,
с боков
побелелой глядит.
Так ревность
тебя
обступает скалой —
за камнем
любовник бандит.
А дальше —
тишь;
крестьяне, корня,
лозой
разделали скаты.
Так.
свой виноградник
пóтом кропя,
и я
рисую плакаты.
Потом,
пропылясь,
проплывают года,
трясут
суетнею мышиною,

старее
 всего старья,
я влез,
 веков девятнадцать назад,
вот в этот самый
 в Дарьял.
Лезгинщик
 и гитарист душой,
в многовековом поту,
я землю
 прошел
 и возделал мушбой
отсюда
 по самый Батум.
От этих дел
 не вспомнят ни зги.
История —
 врун даровитый,
бубнит лишь,
 что были
 царьки да князьки:
Иракли,
 Нины,
 Давиды.
Стена —
 и то
 знакомая что-то.
В тахтах
 вот этой вот башни —
я помню:
 я вел
 Руставели Шбтой
с царицей
 с Тамарою
 шашни.
А после
 катился,
 костями хрустя,
чтоб в пену
 Тереку врыться.
Да это что!
 Любовный пустяк!
И лучше
 резвилась царица.



А дальше
я видел —
в пробнину скал
вот с этих
тропиночек узких
на сакли,
звения,
опускались войска
золотопогонников русских.
Лениво
от жизни
взбираясь ввысь,
гитарой
душу отверз —
«Мхолот пен эртс
рац, ром чемтвис
Моуция
маглидган гмертс...»
И утро свободы
в кровавой росе
сегодня
встает поодаль.
И вот
я мечу,
я, мститель Арсен,
бомбы
5-го года.
Живились
в паяжах
князевы сынки,
а я
ежедневно
и наново
опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых.
И дальше
история наша
хмурá.
Я вижу
правлящих кучку.
Какие-то люди,
мутней, чем Кура,
французов чмокают в ручку.

Двадцать,
а может,
Больше веков
волок
угнетателей узы я.
чтоб только
под знаменем большевиков
воскресла
свободная Грузия.
Да,
я грузин,
но не старенькой нации,
забитой
в ущелие в это.
Я —
равный товарищ
одной Федерации
грядущего мира Советов.
Еще
омрачается
день иной
ужасом
крови и яри.
Мы бродим,
мы
еще
не вино,
ведь мы еще
только мадчари.
Я знаю:
глупость — эдемы и рай!
Но если
пелось про это,
должно быть,
Грузию,
радостный край,
подразумевали поэты.
Я жду,
чтоб аэро
в горы взвились.
Как женщина,
мною лелеема
надежда,
что в хвост
со словом «Тифлис»

вобьем
 фабричные клейма.
Грузин я,
 но не кинто озорной,
острящий
 и пьющий после.
Я жду,
 чтоб гудки
 взрели зурной,
где шли
 лишь кинто
 да ослик.
Я чту
 поэтов грузинских дар,
но ближе
 всех песен в мире,
мне ближе
 всех
 и зурн
 и гитар
лебедек
 и кранов шаири.
Строй
 во всю трудовую прыть,
для стройки
 не жаль ломаний!
Если
 даже
 Казбек помешает, —
 срыть:
Все равно
 не видать
 в тумане.

ТАМАРА И ДЕМОН

От этого Терека
в поэтах
 истерика.
Я Терек не видел.
 Большая потеряйка.
Из омнибуса
 вразвалку



сошел,
 поплеывал
 в Терек с берега,
 совал ему
 в пену
 палку.
 Чего же хорошего?
 Полный развал!
 Шумит,
 как Есенин в участке.
 Как будто бы
 Терек
 организовал
 проездом в Боржом
 Луначарский.
 Хочу отвернуть
 заносчивый нос
 и чувствую,
 стыну на грани я,
 овладевает
 мною
 гипноз
 воды
 и пены игране.
 Вот башня,
 револьвером
 небу к виску,
 разит
 красотою петроганой.
 Поди
 подчини ее
 преду искусств —
 Петру Семенычу
 Когану.
 Стою,
 и злоба взяла меня,
 что эту
 дикость и выступления
 с такой бездарностью
 я
 променял
 на славу,
 рецензии,
 диспуты.



УДК 75.01
а здесь, ПЗ 75.010333

Мне место
не в «Красных нивах»,
и не построчно,
а даром
реветь
стараться в голос во весь,
срывая
струны гитарам.
Я знаю мой голос:
паршивый тон,
но страшен
силою ярой.
Кто видывал,
не усомнится,
что
я
был бы услышан Тамарой.
Царица крепится,
взвинчена хоть,
величественно
делает пальчиком.
Но я ей
сразу:
— А мне начхать,
царица вы
или прачка!
Тем более
с песен —
какой гонорар...
А стирка —
в семью копейка.
А даром
не много дарит гора:
лишь воду —
поди,
попей-ка! —
Взъярилась царица,
к кинжалу рука.
Козой,
из берданки ударенной.
Но я ей
по-своему,
вы ж знаете как:

В Москве
 больнее спускают... куда!
ступеньки считаешь — лестница.
Я кончил,
 и дело мое сторона.
И пусть,
 озверев от помарок,
про это
 пишет себе Пастернак.
А мы...
 соглашайся, Тамара! —
История дальше
 уже не для книг.
Я скромный,
 и я бастую.
Сам Демон слетел,
 подслушал и сник
и скрылся,
 смердя впустую.
К нам Лермонтов сходит,
 презрев времена.
Сияет —
 «Счастливая парочка!»
Люблю я гостей.
 — Бутылку вина!
Налей гусару, Тамарочка!

БАКУ

Баку.
Город ветра.
Песок плюет в глаза.
Баку.
Город пожаров.
Полыхание Балахан.
Баку.
Листья — копоть.
Ветки — провода.

Баку.
Ручьи —
чершила нефти.

Баку.
Плосковерхие дома.
Горбоносые люди.
Баку.
Никто не селится для веселья.
Баку.
Жирное пятно в пиджаке мира.
Баку.
Резервуар грязи,
но к тебе

я тянусь
любовью
более,
чем притягивает дервиша Тибет,
Мекка — правоверного,
Иерусалим —
христиан
на богомолье.

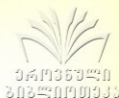
По тебе
машинами вдыхают
миллиарды
поршней и колес.
Поцелуют
и опять
целуют, не стихая,
маслом,
нефтью,
тихо
и взасос.

Воле города
противостать не смея,
цепью сцепеневших тел
льнут
к Баку
покорно
даже змеи
извивающихся цистерн.
Если в будущее
крепко верится, —
это оттого,
что до краев



Иллюстрация Ю. Пименова к стихотворению «Что ни страница,
то слон, то львица».

изливается
 столицам в сердце
черная
 бакинская
 густая кровь.



ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Крошка-сын
 к отцу пришел,
и спросила кроха:
— Что такое
 х о р о ш о
и что такое
 п л о х о? —
У меня
 секретов нет,
слушайте, детишки,
папы этого
 ответ
помещаю
 в книжке:
— Если ветер
 крыши рвет,
если
 град загрохал, —
каждый знает:
 это вот
для прогулок
 плохо.
Дождь покапал
 и прошел.
Солнце
 в целом свете.
Это —
 очень хорошо
и большим
 и детям.
Если
 сын
 чернее ночи,
грязь лежит
 на рожице, —



Шуточный рисунок Маяковского.

ясно,
 это
 плохо очень
 для ребячьей кожицы.
 Если
 мальчик
 любит мыло
 и зубной порошок,
 этот мальчик
 очень милый,
 поступает хорошо.
 Если бьет
 дрянной драчун
 слабого мальчишку,
 я такого
 не хочу
 даже
 вставить в книжку.
 Этот вот кричит:
 — Не трожь
 тех,
 кто меньше ростом! —
 Этот мальчик
 так хорош,
 загляденье просто!
 Если ты
 порвал подряд
 книжицу
 и мячик,
 октябрюта говорят:
 плоховатый мальчик.
 Если мальчик
 любит труд,

МАЛЕНЬКАЯ БИБЛИОТЕКА

საქართველოს
ბიბლიოთეკა

В. МАЯКОВСКИЙ

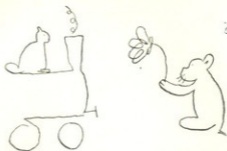


ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

ДЕТИЗДАТ ЦК ВЛКСМ 1939

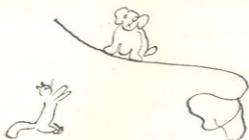
СТОИТ 0 11

Обложка книги «Что такое хорошо и что такое плохо» работы
А. Пахомова.



Шуточный рисунок Маяковского.

тычет
 в книжку
 пальчик,
 про такого
 пишут тут:
 он
 хороший мальчик.
 От вороны
 карапуз
 убежал заохав.
 Мальчик этот
 просто трус.
 Это
 очень плохо.
 Этот,
 хоть и сам с вершок,
 спорит
 с грозной птицей.
 Храбрый мальчик,
 хорошо,
 в жизни
 пригодится.
 Этот
 в грязь полез
 и рад,
 что грязна рубаха.
 Про такого
 говорят:
 он плохой,
 неряха.
 Этот
 чистит валенки,



Шуточный рисунок Маяковского.

моет
сам
галoши.

Он
хотя и маленький,
но вполне хороший.
Помни
это
каждый сын,
знай
любой ребенок:
вырастет
из сына
свин,
если сын
свиненок. —
Мальчик
радостный пошел,
и решила кроха:
«Буду
делать хорошo
и не буду —
плoхo».

ПРОЩАНИЕ

В авто,
последний франк разменяв.
— В котором часу на Марсель? —
Париж
бежит,
провожая меня

раздирает
рот зевота
шире Мексиканского залива.
Трезвые,
чистые,
как раствор борной,
вместе,
эскадроном, садятся есть.
Пообедав, сообща
скрываются в уборной
Одна зевнула —
зевают шесть.
Вместо известных
симметричных мест,
где у женщины выпуклость —
у этих выем:
в одной выемке —
серебряный крест,
в другой — медали
со Львом
и с Пием.
Продрав глазенки
раньше, чем можно, —
в раю
(ужо!)
отоснятся лишек, —
оркестром без дирижера
шесть дорожных
вынимают
евангелишек.
Придешь ночью —
сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
бормочут, стервозы!
И днем,
и ночью, и в утро, и в полдни
сидят
и бормочут
дуры господни.
Если ж
день
чуть-чуть
помрачнеет с виду,

сойдут в кабину, 12 галаш
наденут вместе и снова выйдут,
и снова идет
 елейный скулёж.
Мне б язык испанский!
— Ангелицы, И б спросил, взъярённый:
 попросту
если ответ поэту дайте —
 люди вы,
 то кто ж
 тогда вороны?
А если вы вороны,
 то почему вы не летаете? —
Агитпрошники!
 не лезьте вон из кожи,
весь земной обревизуйте шар.
Самый замечательный безбожник
не придумает кощунственнее шарж!
Радуйся, распятый Иисусе,
не слезай с гвоздей своей доски,
а вторично явишься — с ю да
 не суйся —
все равно:
 повесишься с тоски!

Б Л Э К Э Н Д У А Й Т

Если
 Гаванну
 окинуть мигом —
рай-страна,
 страна что надо.



Под пальмой
на ножке
стоит фламинго

Цветет
колларно
по всей Ведадо.

В Гаванне все
разграничено четко:
у белых доллары,
у черных — нет.

Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Эпри Клей энд Бок, лимитед».

Много
за жизнь
повымел Вилли —
одних пылинок
целый лес.

Поэтому
вóлос у Вилли —
вылез,

поэтому
живот у Вилли —
влез.

Мал его радостей тусклый спектр:
шесть часов поспать на боку,
да разве что
вор,
портовый инспектор,

кинет
негру
цент на бегу.

От этой грязи
скроешься разве?

Разве что
стали б
ходить на голове?

И то
намели бы
больше грязи:

волосьев — тыщи,
а ног —
две.

Рядом
шла нарядная Прадо.
То звякнет,
то вспыхнет
трехверстый джаз.
Дурню покажется,
что и взаправду
бывший рай
в Гаванне как раз.
В мозгу у Вилли
мало извилин,
мало всходов,
мало посева.
Одно
единственное
вызубрил Вилли
тверже,
чем камень
памятника Масео:
белый
ест —
ананас спелый,
черный —
гнилью мочёный;
белую работу —
делает белый,
черную работу —
черный.
Мало вопросов Вилли сверлили.
Но один был
закорюка из закорюк.
И когда
вопрос этот
влезал в Вилли,
щетка
падала
из Виллиных рук.
И надо же случиться,
чтоб как раз тогда
к королю сигарному
Энри Клей
пришел,
белей, чем облаков стада,
величественнейший из сахарных королей.

Негр
подходит
к туше лебелой:
«Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг!
Почему и сахар,
белый-белый,
должен делать
черный негр?
Черная сигара
не идет в усах вам, —
она для негра
с черными усами.
А если вы
любите
кофий с сахаром,
то сахар
извольте
делать сами».
Такой вопрос
не проходит даром.
Король
из белого
становится желт.
Вывернулся
король
сообразно с ударом —
выбросил
обе перчатки
и ушел.
Цвели
кругом
чудеса ботаники.
Бананы
сплетали
сплошной кров.
Вытер
негр
о белые
подштанники
руку,
с носа
утёршую кровь.
Негр
посопел
подбитым носом,



34736320

30320170333

поднял щетку,
 держаась за скулу.
 Откуда знать ему,
 что с таким вопросом
 надо обращаться
 в Коминтерн,
 в Москву?!

5/VII — Гаванна

ТРОПИКИ

(Дорога Вера-Круц — Мехико-Сити)

Смотрю:
 вот это —
 тропики.
 Всю жизнь
 вдыхаю наново я.
 А поезд
 прет торопкий
 сквозь пальмы
 сквозь банановые.
 Их силуэты-веники
 встают рисунком тошненьким:
 не то они — священники,
 не то они — художники.
 Аж сам
 не веришь факту:
 из всей бузы и вара
 встает
 растение — кактус
 трубой от самовара.
 А птички в этой печке
 красивой всякой меры.
 По смыслу —
 воробейчики,
 а видом
 шантеклеры.
 Но прежде, чем
 осмыслил лес,
 и бред,
 и жар,
 и день я —
 и день
 и лес исчез



Маяковский в Мехико-Сити (1925).



без вечера
и без
предупреждения.
Где горизонта борозда?!
Все линии
потеряны.
Скажи,
которая звезда
и где
глаза пантерины?
Не стел бы
лучший казначей
звезды
тропических ночей,
настолько
ночи августа
звездой набиты
нагусто.
Смотрю:
ни зги, ни тропки.
Всю жизнь
вдыхаю наново я.
А поезд прет
сквозь тропики,
сквозь запахи
банановые.

М Е К С И К А

О, как эта жизнь читалась врасос!
Идешь.
Наступаешь на ноги.
В руках
превращается
ранец в лассо,
а клячи пролеток —
мустанги.
Взаправду
игрушечный
рос магазин,
ревел
пароходный гудок.
Сейчас же
сбегу
в страну мокасин —

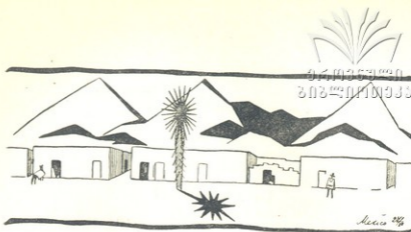


Рисунок Маяковского к стихотворению «Тропики» (1925).

лишь сбондю
 рубль и бульдог.
 А сегодня —
 это не умора.
 Сколько миль воды
 винтом нарыто, —
 и встает
 живьем
 страна Фениамора
 Купера
 и Майн-Рида.
 Рев сирен,
 кончается вода.
 Мы прикручены
 к земле
 о локоть локоть.
 И берет
 набитый «Лефом»
 чемодан
 Монтигомо
 Ястребиный Коготь.
 Глаз торопится слезой налиться.
 Как? чему я рад? —
 «Ястребиный Коготь!
 Я ж
 твой «Бледнолицый
 Брат».
 Где товарищи?
 чего таишься?
 Помнишь,
 из-за клумбы



Рисунок Маяковского к стихотворению «Тропики» (1925).

стрелами,
отравленными
в Кутаисе,
били
мы
по кораблям Колумба?»
Цедит
злобно
Коготь Ястребинный,
медленно,
как треснувшая крынка:
«Нету краснокожих — истребили
гачунины с гринго.
Ну, а тех из нас,
которых
пульки
пощадили,
просвистевши мимо,
кабаками
кактусовый «пулке»
добивает
по 12 сантиметров.
Заменяла
чемоданов куча
стрелы,
от которых
никуда не деться...»
Огрызнулся
и пошел,
сомбреро нахлобучив
вместо радуги
из перьев
птицы Кётцаль.



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Года и столетья!
Как ни косите
склоненные головы дней, —
корявые камни

Мехико-Сити
прошедшее вышепчут мне.
Это

было
так давно,
как будто не было.

Бабушки столетних попугаев
не запомнят.

Здесь
из зыби озера
вставал Пуэбло,
дом-коммуна
в десять тысяч комнат.

И золото
между озерных зыбей
лежало,
аж рыть не надо вам.

Чего еще,
живи,

бронзовей,
вторая сестра Элладова!

Но очень надо
за морем
белым,

чего индейцу не надо.

Жадна
у белого
Изабелла,

жена
короля Фердинанда.
Тяжак испанских пушек груз.

Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц

генерал
Эрнандо Кортес.

Пришел.
Вода студеная
хочет

вскипеть кипятком
от огня.



Маяковский и мексиканский коммунист Морено
(Мексика, 1925).

Дерутся
72 ночи
и 72 дня.
Хранят
краснокожих
двумордые идолы.
От пушек
не видно вреда.
Как мышь на сало,
прельстясь на титулы.
своих
Монтецума предал.
Напрасно,
разбитых
в отряды спаяв,
Гватéмок
в озерной воде
мок.
Что
против пушек
стрелёнка твоя!..
Под пытками
умер Гватéмок.
И вот стоим,
индеец да я,
товарищ
далекого детства.
Он умер,
чтоб в бронзе
веками стоять
наискосок от полпредства.
Внизу
громыкает
столетий орда,
и горько стоять индейцу.
Что братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Дизцов?..
Прошла
годів трехзначная сумма.
Героика
нынче не тема.
Пивною маркой стал Монтецума,



Маяковский в Мексике (1925).

пивной маркой — Гватéмок.
 Буржуи
 всё
 под одно стригут.
 Вконец обесцветили мир мы.
 Теперь
 в утешенье земле-старика
 лишь две
 конкурентки фирмы.
 Ни лиц пожелтелых,
 ни солнца одёж.
 В какую
 огромную лупу
 в какой трущобе
 теперь
 найдешь
 Сарапи и Гваделупу?
 Что Рига, что Мексика —
 родственный жанр.
 Латвия
 тропического леса.
 Вся разница:
 зонтик в руке у рижан,
 а у мексиканцев
 «Смит и Вёссон».
 Две Латвии
 с двух земных боков —
 различные собой они
 лишь тем,
 что в Мексике
 режут быков
 в театре,
 а в Риге —
 на бойне.
 И совсем как в Риге,
 около пяти,
 проклиная
 мамову опеку,
 фордом
 разжигая
 жениховский аппетит,
 кружат дочки
 по Чапультапеку.



Маяковский в цирке Мехико-Сити (1925).

А то,
что тут урожаем фуража,
что в пальмы земля разодета,
так это от солнца, —
сиди
и рожай
бананы и президентов.
Наверху министры
в бриллиантовом огне.
Под —
народ.
Голейший зад виднеется.
Без штанов,
во-первых, потому, что нет,
во-вторых, —
не полагается:
индейцы.
Обнищало
монтецумье племя,
и стоит оно
там,
где город
выбег
на окраины прощаться,
перед вывеской
муниципальной:
«Без штанов
в Мехико-Сити
вход воспрещается».
Пятьсот
по Мексике
нищих племен,
а сытый
с одним языком:
одной рукой выжимает в лимон,
одним запирает замком.
Нельзя
борьбе
в племена рассекаться.
Нищий с нищими
рядом!
Несись
по земле
из страны мексиканцев,

роднящий крик:

«Камарадо!»

Голод

мастер людей равнять.

Каждый индеец,

кто гол,

в грядущем огне

родня-головня,

ацтек,

метис

и креол.

Милльон не угробят богатых лопаты.

Страна.

Поди

покори ее.

Встают

взамен одного Запаты

Гальваны,

Морено,

Карио.

Сметаи

с горбов

толстопузых обузу.

ацтек,

креол

и метис!

Скорей

над мексиканским арбузом.

багровое знамя, взметись!

Мехико-Сити.
20/V.1 1925 г.

Б Р О Д В Е Й

Асфальт — стекло.

Иду и звеню.

Леса и травинки —

сбиты.

На север

с юга

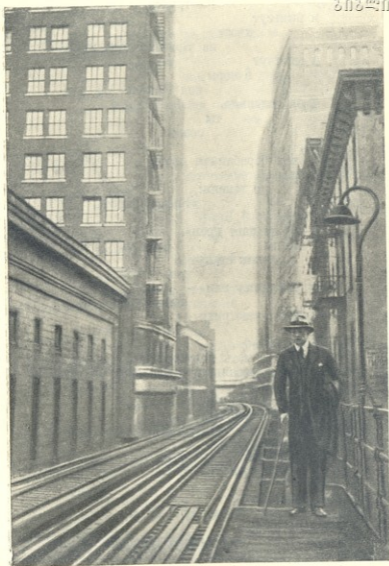
идут авеню,

на запад с востока —

стриты.

А между —

(куда их строитель завез!) —



Маяковский в Нью-Йорке (1925).

и в пятках
домовых
трусся,
и вынесут
хвост
на Бруклинский мост,
и спрячут
в норы
под Гудзон.
Тебя ослепило,
ты
осовел.
Но,
как барабанная дробь,
из тьмы
по темени:
«Кофе Максвел
гут
ту ди ласт дроп».
А лампы
как станут
ночь копать,
ну, я доложу вам —
пламечко!
Налево посмотришь —
мамочка мать!
Направо —
мать моя мамочка!
Есть что поглядеть московской братве.
И за день
в конец не дойдут.
Это Нью-Йорк.
Это Бродвей.
Гау ду ю ду!
Я в восторге
от Нью-Йорка города.
Но
кепчонку
не сдерну с виска.
У советских
собственная гордость:
на буржуев *
смотрим свысока.

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Издай, Кулидж,
радостный клич!
На хорошее

и мне не жалко слов.

От похвал

красней,

как флага нашего материйка,

хоть вы

и разъяюнайтед стетс

оф

Америка.

Как в церковь

идет

помешавшийся верующий,

как в скит

удаляется,

строг и прост, —

так я

в вечерней

сереющей мёреци

вхожу,

смиранный, на Бруклинский мост.

Как в город в сломанный

прет победитель

на пушках — жерлом

жирафу под рост, —

гак, пьяный славой,

так, жить в аппетите,

влезая,

гордый,

на Бруклинский мост.

Как глухой художник

в мадонну музея

вонзает глаз свой,

влюблен и остр,

так я,

с поднебесья

в звезды усеян,

смотрю

на Нью-Йорк

сквозь Бруклинский мост.

Нью-Йорк

до вечера тяжек

и душен,




забыл, что тяжко ему
и высоко,
и только одни домовьи души
встают в прозрачном свечении окон.
Здесь еле зудит
элевейтров зуд.
И только по этому
тихому зуду
поймешь — поезда
с дребезжаньем ползут.
как будто в буфет убирают посуду.
Когда ж, казалось, с-под речки начатой
развозит с фабрики
сахар лавочник, —
то
под мостом проходящие мачты
размером не больше размеров булавочных.
Я горд вот этой
стальной милей,
живьем в ней мои видения встали —
борьба за конструкции
вместо стилей,
расчет суровый гаек
и стали.
Если придет
окончание света —
планету хаос
разделает влоск



пустив по ветру
 Напомнит индейские перья
 машину ребро вот это —
 сообразите, хватит рук ли,
 чтоб, став стальной ногой
 на Мангетен,
 к себе за губу
 притягивать Бруклин?
 По проводам электрической пряди —
 я знаю — эпоха
 после пара —
 здесь люди
 уже
 орали по радио,
 здесь люди
 уже
 взлетели по аэро.
 Здесь жизнь
 была
 одним — беззаботная,
 другим — голодный
 протяжный вой.
 Отсюда безработные
 в Гудзон
 кидались
 вниз головой.
 И дальше картина моя
 без загвоздки
 по струнам-канатам,
 аж звездам к ногам.



Маяковский, Давид Бурлюк и его сыновья (Нью-Йорк, 1925).



Я вижу —
здесь
стоял Маяковский,
стоял
и стихи слагал по слогам.
Смотрю,
как в поезд глядит эскимос,
впиваюсь,
как в ухо впивается клещ.
Бруклинский мост —
да...
это вещь!

Д О М О Й!

Уходите, мысли, восвояси.
Обнимись,
души и моря глубь.
Тот,
кто постоянно ясен —
тот,
по-моему,
просто глуп.
Я в худшей каюте
из всех кают —
всю ночь надо мною
ногами куют.
Всю ночь,
покой потолка возмутив,
несется танец,
стонет мотив:
«Маркита,
Маркита,
Маркита моя,
зачем ты,
Маркита,
не любишь меня...»
А зачем
любить меня Марките?!
У меня
и франков даже нет.
А Маркиту
(толечко моргните!)
за сто франков
препроводят в кабинет.

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

ՀԵՐՅԵՅԸՆ
ՆՈՅՆՈՐԽՈՅՅ



ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Обложка отдельного издания стихотворения «Христофор Колумб».
Рисунок Давида Бурлюка (Нью-Йорк, 1925).



Небольшие деньги —
 нет, поживи для шикун,
 интеллигент,
 будешь всучивать ей взбивая грязь вихров,
 по стежкам швейную машинку,
 строчащую шелка стихов.
 Пролетарии приходят к коммунизму
 низом шахт, низом —
 серпов и вил, —
 я ж с небес поэзии бросаюсь в коммунизм,
 потому что нет мне без него любви,
 Все равно — сослался сам я или послан к маме —
 слов ржавеет сталь, чернеет баса медь.
 Почему под иностранными дождями
 вымокать мне, гнить мне и ржаветь?
 Вот лежу, уехавший за воды,
 ленью еле двигаю
 моей машины части.
 Я себя советским чувствую
 заводом,
 вырабатывающим счастье.
 Не хочу,
 чтоб меня, как цветочек с полян,
 рвали после служебных тягот.

Я хочу, чтоб в дебатах
потел Госплан,
мне давая задания на год.
Я хочу,
чтоб над мыслью
времен комиссар
с приказанием нависал.
Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовницу сердце.
Я хочу,
чтоб в конце работы
завком
запирал мои губы
замком.
Я хочу,
чтоб к штыку
приравняли перо.
С чугуном чтоб-
и с выделкой стали
о работе стихов
от Политбюро
чтобы делал
доклады Сталини.
«Так, мол,
и так... И до самых верхов
прошли
из рабочих нор мы:
в Союзе
Республик
пониманье стихов
выше
довоенной нормы...»

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Вы ушли,
как говорится,
в мир иной.
Пустота...
Летите,
в звезды врезываясь.



Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость.

Нет, Есенин,
это
не насмешка, —
в горле
горе комом,
не смешок.

Вижу —
врезанной рукой помешкав,
собственных
костей
качаете мешок.

Прекратите,
бросьте!
Вы в своем уме ли?

Дать,
чтоб щеки
заливал *
смертельный мел?

Вы ж
такое загибать умели,
что другой
на свете
не умел.

Почему,
зачем?
Недоуменье смяло.

Критики бормочут:
«Этому вина
то да се,
а главное,
что смычки мало,
в результате
много пива и вина».

Дескать,
заменить бы вам
богему
классом,
класс влиял на вас,
и было б не до драк.

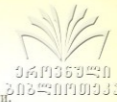


ՀԱՄԵՆԻԱԿԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

Ա լոյսը զո՛ր ի, արևն արևո՛ր
 ո՞րն արև
 Ս արևն արև
 ո՞րն արևն արևն
 Օ արևն արևն
 ո՞րն արևն արևն
 Իրեն զո՛րն
 Երևանի արևն
 Յ. Ս. Մանուկյան

Строфа автографа стихотворения «Домой!» (вариант).

Ну, а класс-то жажду
 заливает квасом?
 Класс — он тоже
 выпить не дурак.
 Дескать,
 к вам приставить бы
 кого из напостов, —
 стали б
 содержанием
 премного одаренней:
 вы бы
 в день
 писали
 строк по сто,
 утомительно
 и длинно,
 как Дорониц.



с прошлых с похорон не переделавши почти.

В холм тупые рифмы загонять колом, —
разве так поэта надо бы почтить?

Вам и памятник еще не слит, —
где он, бронзы звон или гранита грань? —
а к решеткам памяти уже понанесли

посвящений и воспоминаний дрянь.

Ваше имя в платочки разоплено,
ваше слово слюнявит Собинов
и выводит под березкой дохлой —
«Ни слова, о друг мой, ни вздо-о-о-о-ха».

Эх, поговорить бы иначе
с этим самым с Леонидом Лозингриным!

Встать бы здесь гремящим скандалистом:
— Не позволю мямлить стих и мять! —

Оглушить бы их трехналым свистом
в бабушку и в бога душу мать!
Чтобы разнеслась бездарнейшая погань,

раздувая темь пиджачных парусов,

чтобы
врассыпную
разбежался Коган,
встреченных
увеча
пиками усов.
Дрянь
пока что
мало поредела.
Дела много —
только поспевать.
Надо
жизнь
сначала переделать,
переделав —
можно воспевать.
Это время —
трудновато для пера.
Но скажите
вы,
калеки и калекши,
где,
когда,
какой великий выбирал
путь,
чтобы протогтанней
и легче?
Слово —
полководец
человечьей силы.
Марш!
чтоб время
сзади
ядрами рвалось.
К старым дням
чтоб ветром
относило
только путаницу волос.
Для веселия
планета наша
мало оборудована.
Надо
вырвать
радость
у грядущих дней.

В этой жизни
помереть не трудно. —
Сделать жизнь
значительно трудней.

РАЗГОВОР С ФИНИНСПЕКТОРОМ О ПОЭЗИИ

Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство.
Спасибо...
не тревожьтесь...
я постою...
У меня к вам
дело
деликатного свойства:
о месте
поэта
в рабочем строю.
В ряду
имеющих
лабазы и уголья
и я обложен
и должен караться.
Вы требуете
с меня
пятьсот в полугодие
и двадцать пять
за неподачу деклараций.
Труд мой
любому
труду
родствен.
Взгляните —
сколько я потерял,
какие
издержки
в моем производстве
и сколько тратится
на материал.
Вам,
конечно, известно
явление «рифмы».



Скажем,
 строчка
 окончилась словом
 «отца»,
и тогда
 через строчку,
 слога́ повторив, мы
ставим
 какое-нибудь:
 л а м ц а д р и ц а - ц а .
Говоря по-вашему,
 рифма —
 вексель.
Учесть через строчку! —
 вот распоряжение.
И ищешь
 мелочишку суффиксов и флексий
в пустующей кассе
 склонений
 и спряжений.
Начнешь это
 слово
 в строчку всовывать,
а оно не лезет —
 нажал и сломал.
Гражданин фининспектор,
 честное слово,
поэту
 в копеечку влетают слова.
Говоря по-нашему,
 рифма —
 бочка.
Бочка с динамитом.
 Строчка —
 фитиль.
Строка додымит,
 взрывается строчка —
и город
 на воздух
 строфой летит.
Где найдешь,
 на какой тариф
рифмы,
 чтоб враз убивали, нацелясь?



Обложка отдельного издания стихотворения «Разговор с фининспектором о поэзии», Фотомонтаж А. Родченко (1926).

загнал
 за последние
 15 лет?!

У вас —
 в мое положение войдите —
про слуг
 и имущество
 с этого угла.

А что,
 если я
 народа водитель
и одновременно —
 народный слуга?

Класс
 гласит
 из слова из нашего,
а мы,
 пролетарии,
 двигатели пера.

Машину
 души
 с годами изнашиваешь.

Говорят:
 — В архив,
 исписался,
 пора! —

Все меньше любитя,
 все меньше дерзается,
и лоб мой
 время
 с разбега крушит.

Приходит
 страшнейшая из амортизаций —
амортизация
 сердца и души.

И когда
 это солнце
 разжиревшим боровом
взойдет
 над грядущим
 без нищих и калек, —
я
 уже
 сгнию,
 умерший под забором,

рядом
с десятком
моих коллег.
Подведите
мой
посмертный баланс!
Я утверждаю
и — знаю — не налгу:
на фоне
сегодняшних
дельцов и пролаз
я буду
— один! —
в непролазном долгу.
Долг наш —
реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда
должник вселенной,
платящий
на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу
перед Бродвейской лампией,
перед вами,
багдадские небеса,
перед Красной армией,
перед вишнями Японии,
перед всем, про что
не успел написать.
А зачем
вообще
эта шапка Сене?
Чтобы целься рифмой
и ритмом ярьсь?
Слово поэта —
ваше воскресење,
ваше бессмертие,
гражданин канцелярист.

Через столетья
в бумажной раме
возьми строку
и время верни!
И встанет
день этот
с фининспекторами,
с блеском чудес
и с воною чернил.
Сегодняшних дней убежденный житель,
выправьте
в Энкапез
на бессмертье билет
и, высчитав
действие стихов,
разложите
заработок мой
на триста лет.
Но сила поэта
не только в этом,
что, вас
вспоминая,
в грядущем икнут.
Нет!
и сегодня
рифма поэта —
ласка,
и лозунг,
и штык,
и кнут.
Гражданин фининспектор,
я выплачу пять,
все
нули
у цифры скрестя!
Я
по праву
требую пядь
в ряду
беднейших
рабочих и крестьян.
А если
вам кажется,
что всего делов —



Засыпал к утру.

Курок

аж палец свеж

Суньтесь —

кому охота!

Думал ли,

что через год всего

встречусь я

с тобою —

с парходом.

За кормой луница.

Ну и здорово!

Залегла,

просторы надвое порвав.

Будто навеки

за собой

из битвы коридоровой

тянешь след героя,

светел и кровав.

В коммунизм из книжки

верят средние.

«Мало ли

что можно

в книжке намолоть!»

А такое —

оживит внезапно «бредни»

и покажет

коммунизма

естество и плоть.

Мы живем,

зажатые

железной клятвой.

За нее —

на крест,

и пулю чешите:

это —

чтобы в мире

без Россий,

без Латвий,

жить единым

человечьим общежитьем.

В наших жилах —

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,



чтобы,
 умирая, воплотиться
 в пароходы, в строчки
 и в другие долгие дела.
 Мне бы жить и жить,
 сквозь годы мчась.
 Но в конце хочу —
 других желаний нету, —
 встретить я хочу
 мой смертный час
 так,
 как встретил смерть
 товарищ Нетте.

15 июля, Ялта

**РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ:
 «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»**

Перья-облака,
 закат расканарейте.
 Опускайся,
 южной ночи гнет.
 Пара
 парохолов
 говорит на рейде:
 то один моргнет,
 а то
 другой моргнет.
 Что сигналият?
 Напрягаю я
 морщины лба.
 Красный раз...
 Угаснет.
 И зеленый...
 Может быть,
 любовная мольба;
 может быть,
 ревнует разозленный,
 может, просит:
 — «Красная Абхазия»,
 говорит
 «Советский Дагестан».



Я устал,
один по морю лазая,
подойди сюда
и рядом стань. —
Но в ответ
коварная она:
— Как-нибудь
один
живи и грейся.
Я
теперь
по мачты влюблена
в серый «Коминтерн»,
трехтрубный крейсер.
— Все вы,
бабы,
трясогузки и каналы...
Что ей крейсер,
дылда и пачкун? —
Поскулил
и снова засигналил:
— Кто-нибудь,
пришлите табачку!..
Скучно здесь,
нехорошо
и мокро.
Здесь
от скуки
отсыреет и броня... —
Дремлет мир,
на Черноморский округ
синь-слезищу
морем оброня.

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
и разен язык
и одёжи!
Насилу,
пот стирая с виска,

ბიბლიოთეკის
განაწილების



Маяковский в Праге (1927).



сквозь горло тоннеля узкого
 пролез
 и, глуша прощаньем свистка,
 рванулся
 курьерский
 с Курского!

Заводы.
 Березы от леса до хат
 бегут,
 листками ворóча,
 и чист,
 как будто слушаешь МХАТ,
 московский говорочек.
 Из-за горизонтов,
 лесами сломанных,
 толпа надвигается
 мазанок.

Цветисты бочкá
 из-под крыш соломенных,
 окрашенные разно.
 Стихов навезите целый мешок,
 с таланта
 можете лопаться, —

в ответ
 снисходительно cedят смешок
 уста
 украинца-хлопца.
 Пространства бегут,
 с хвоста нарастав,
 их жарит
 солнце-кухарка.

И поезд
 уже
 бежит на Ростов,
 далёко за дымный Харьков.
 Поля —
 на миллионы хлебных тонн —
 как будто
 их гладят рубанки,
 а в хлебной охре
 серебряный Дон
 блестит
 поэументом кубанки.
 Ревем паровозом до хрипоты,



ՀԱՄԵՆԻ ԳՐԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

В. МАЯКОВСКИЙ
НИ ЗНАХАРЬ

НИ БОГ
НИ СЛУГИ БОГА
НАМ

НЕ ПОДМОГА.



КРАСНАЯ НОВЬ

Обложка сборника «Ни знахарь, ни бог...» Рисунок Маяковского (1923).

И вот началось кавказское. —
 то головы сахара высят хребты,
 то в солнце —
 пожарной каскою.

Лечу ущельями, свист приглушив.
 Снегов и папах седины.
 Сжимаемая книжалы, стоят ингуши,
 следят из седла осетины.

Верх гор —
 лед,

низ жар шьет,
 и солнце льет под.
 Тифлищев узнаешь и метров за сто:
 гуляют часами жаркими,
 в моднейших шляпах,
 в ботинках носастых,
 этакими парижакими.

По-своему всякий зубрит азы,
 аж цифры по-своему снятся им.
 У каждого третьего —
 свой язык
 и собственная нация.

Однажды, забросив в гостиницу хлам,
 забыл, где я ночую.

Я адрес по-русски спросил у хохла,
 хохол отвечал:
 «Нэ чую».

Когда ж переходят к научной теме,

им
рамки русского
узки;
с Тифлисской
Казанская академия
переписывается по-французски.
И
я
Париж люблю сверх мер
(красивы бульвары ночью!).
Ну, мало ли что —
Бодлер,
Малларме
и эдакое прочее!
Но нам ли,
шагавшим в огне и воде
годами,
борьбой прожженными,
растить
на смену себе
бульвардье
французистыми пижонами!
Используй,
кто был безъязык и гол,
свободу советской власти.
Ищите свой корень
и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
Смотрите на жизнь
без очков и шор,
глазами жадными цапайте
все то,
что у вашей земли хорошо
и что хорошо на Западе.
Но нету места
злобы мазку,
не мажьте красные души!
Товарищи юноши,
взгляд — на Москву,
на русский вострите уши.
Да будь я
и негром преклонных годов,
и то,
без унынья и лени,
я русский бы выучил

что им
разговаривал Ленин.
Когда
Октябрь орудийных бурь
по улицам
кровью лился,
я знаю,
в Москве решали судьбу
и Киевов
и Тифлисов.
Москва
для нас
не державный аркан,
ведущий земли за нами,
Москва
не как русскому мне дорога,
а как огневое знамя!
Три
разных истока
во мне
речевых.

Я
не из кацапов-разинь.
Я —
дедом казак,
другим —
сечевик,
а по рожденью
грузин.
Три
разных капли
в себе совмещав,
беру я
право вот это —
покрыть
всесоюзных совмещан.
И ваших
и русопетов.

КОРОНА И КЕНКА

Царя вспоминаю —
и меркнут слова.
Дух займет,
и если просто «главный».

А царь
не просто
всему глава,
а даже —
двуглавный.
Он сидел
в коронном ореоле,
царь людей и птиц...
— вот это чин! —
и, как полагается
в орлиной роли,
клюв и коготь
на живье точил.
Точит
да косит глаза грозный.
Повелитель
жизни и казны.
И свистели
в каждом
онемевшем месте
плетищи
царевых манифэстин.
«Мы! мы! мы!
Николай Второй,
двуглавый повелитель
России-тюрьмы
и прочей тартарары,
царь польский,
князь финляндский,
принц эстляндский
и барон курляндский,
издевающийся
и днем и ночью
над Россией
крестьянской и рабочей...
и прочее,
и прочее,
и прочее...»
Десять лет
прошли —
и нет.
Память
о прошлом
временем грабится...



ՀԱՅԿԵՅՆ ԿՈՆՍՏԱՆԴՆՍԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ



Иллюстрация Ю. Пименова к стихотворению «Мы вас ждем, товарищ птица!..»

Корона —
 вот этот ночной горшок,
 бриллиантов пуд —
 устанешь, носивши. —
 И морщатся дети:
 — Нехорошо!
 Кепка и мягше
 и много красивше.
 Очень неудобная такая корона...
 Тетя,
 а это что за ворона?
 — Двуглавый орел
 под номером пятым.
 Поломан клюв,
 острижены когти.
 Как видите,
 обе шеи помяты...
 Тише, дети,
 руками не трогайте! —
 И смотрят с удивлением
 Маньки да Ванятки
 на истрепанные
 царские манатки.

**МЫ ВАС ЖДЕМ, ТОВАРИЩ ПТИЦА!
 ОТЧЕГО ВАМ НЕ ЛЕТИТСЯ?**

Несется клич
 со всех концов,
 несется клич
 во все концы:
 — Весна пришла!
 Дашь скворцов!
 Добро пожаловать, скворцы! —
 В самом лучшем месте
 самой лучшей роуди
 на ветке
 поразвесистей
 готова жилплощадь.
 И маленькая птица
 с большим аппетитцем.
 Готовы
 для кормежки
 и зерна
 и мошки.

Из-за моря,
из-за леса
не летят скворцы
пока.

Пионеры
сами лезут
на берёзины бока.
Один
с трубою на носу
уселся
аж на самый сук.
Вспорхнуть бы —

и навстречу
с приветственной речью.
Одна заминка:
без крылышек спинка.
Грохочет гром

от труб ребят,
от барабана шалого.
Ревут,
кричат,
пищат,
трубят.

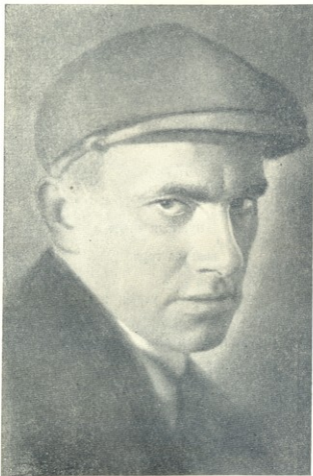
— Скворцы,
добро пожаловать! —
Бьют барабаны бешеной.
Скворцы

погоды внешней
заяждались за лесами,
и в жданьи безутешном
ребята

по скворешням
расположились сами.
Слетит

скворец
под сень листов,
сказать придется:
— Нет местов. —

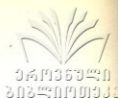
Хочу,
чтоб этот клич
гудел
над прочими клячами:
— Товарищ,
пионерских дел
не забывай
за птичьими.



Маяковский. Фото А. Штеренберга.

ДА ИЛИ НЕТ?

Сегодня
пулей
наемной руки
застрелен
товарищ Войков.
Зажмите
горе
в зубах тугих,
волнение
скрутите стойко.
Мы требуем
точный
и ясный ответ,
без дипломатии,
гóло:
«Паны за убийцу?
Да или нет?»
И, если надо,
нужный ответ
мы выжмем,
взяв за горло.
Сегодня
взгляд наш
угрюм и кос,
и гневен
массовый оклик:
«Мы терпим Шанхай...
стерпим Аркос...
И это стерпим?
Не много ли?»
Нам трудно
и тяжело,
не надо прикрас,
но им
не сломить стальных.
Мы ждем
на наших постах
приказ
рабоче-крестьянской страны.
Когда
взовется
восстания стяг





Маяковский с собакой Булкой (1928).



и дым
борьбы
рабочие мира,
и нанявшим
и убийцам!

заклубится,
не дрогните, мстя

ну, что ж:

Раскрыл я
И потянуло
от всех границ.
Не вновь,
Нам не с чего
но нечего
Бурна вода истории.
Угрозы
мы взрежем
как режет

с тихим шорохом
глаза страниц...
порохом
которым за двадцать,
в грозе расти.
радоваться,
грустить.
и войну
на просторе,
киль волну.

ВОЗЬМЕМ ВИНТОВКИ НОВЫЕ

Возьмем винтовки новые,
на штык флажки!
И с песнею
пойдем кружки.
Раз!
Два!
Все
в ряд!
Впе-
ред,
от-
ряд!

в стрелковые



ՀԱՅԿԱՅԻՆ
ԳՐԱԳՈՒՅՑՅԱԼ



Маяковский на книжном базаре среди красноармейцев (Москва, 1925).

Когда
 война-метелица
 придет опять, —
 должны уметь мы целиться,
 уметь стрелять.
 Ша-
 гай
 кру-
 че!
 Цель-
 ся
 луч-
 ше!
 И если двинет армии
 страна моя, —
 мы будем
 санитарами
 во всех боях.
 Ра-
 нят
 в лесу,

к сво-
им
сне-
су.

Бесшумною разведкою —
тиха нога —
за камнем
и за веткою
найдем врага.

Пол-
зу
день,
ночь
мо-
им
по-
мочь.

Блестят винтовки новые, —
на них
флажки.

Мы с песнею
в стрелковые
идем кружки.

Раз!
Два!
Под-
ряд!
Ша-
гай,
от-
ряд!

К Р Ы М

Хожу,
гляжу в окно ли я, —
цветы
да небо синее,
то в нос тебе
магнолия,
то в глаз тебе
глициния.
На молоко
сменил
чай.

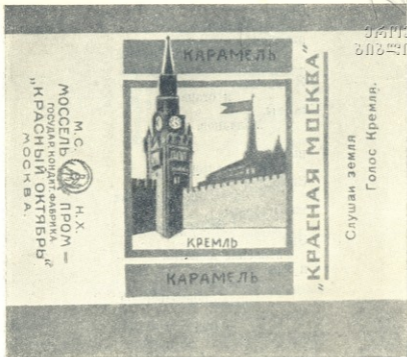
В сияньи
 лунных чар
и днем
 и ночью
 на Чаир
вода
 бежит, рыча.
Под страшной
 стражей
 воли-борцов
глубины вод гноят
повыброшенных
 из дворцов
тритонов и наяд.
А во дворцах
 другая жизнь:
насытись
 водной блажью,
иди, рабочий,
 и ложись
в кровать
 великокняжью.
Пылают горы-горны,
и море синезлутится.
Людей
 ремонт ускоренный
в огромной
 крымской кузнице.

**ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА,
БРОШЕННОЙ ИМ,**

*как о том сообщается в № 219 «Комсомольской
правды», в стиге по имени «Свидание»*

Слышал —
 вас Молчанов бросил.
Будто
 он
 предпринял это,
видя,
 что у вас
 под осень
нет
 «изячного» жакета.

На косынку
 цвета синьки
смотрит он
 и цедит еле:
— Что вы
 ходите в косынке?
да и...
 мордой постарели?
Мне
 пожалте
 грудь тугую.
Ну,
 а если
 нету этаких...
Мы найдем себе другую
в разысканной жакетке. —
Припомадясь
 и прикрасясь,
эту
 гадость
 вливши в стих,
хочет
 он
 марксистский базис
под жакетку
 подвести.
«За боль годов,
за все невзгоды
глухим сомнениям не быть!
Под этим мирным небосводом
хочу смеяться
и любить».
Сказано веско.
Посмотрите, дескать:
«Шел я вёрхом,
 шел я низом,
строил
 мост в социализм,
недостроил
 и устал
и уселся
 у моста.
Травка
 выросла
 у моста.



Конфетная обертка с двустихием Маяковского (1925).

по мосту
 идут овечки,
 мы желаем
 — очень просто! —
 отдохнуть
 у этой речки.
 Заверните ваше знамя!
 Перед нами
 ясность вод,
 вбок —
 цветочки,
 а над нами —
 мирный-мирный небосвод».
 Брошенная,
 не бойтесь красивого слога
 поэта,
 музой венчанного!

Просто и строго
ответьте на лиру Молчанова:
— Прекратите ваши трели!
Я не знаю, я стара ли,
но вы, Молчанов,
постарели,
вы и ваши пасторали.
Знаю я — в жакетах в этих
на Петровке бабья банда.
Эти польские жакетки
к нам провозят
контрабандой.
Чем, служа у муз
по найму,
на мое тряпье
коситься,
вы б индустриальным займом
помогли рождению
ситцев.
Череп, што ль,
пустеет чаном,
выбил мысли
грохот лирный?
Это где же вы,
Молчанов,
небосвод узрели
мирный?

В гущу
ваших рózдыхов,
под цветочки,
на реку
заграничным воздухом
не доносит гарьку?
Или
за любовной блажью
не видать
угрозу вражью?

Литературная шатня,
успокойте ваши нервы,
отойдите —
вы мешаєте
мобилизациям и маневрам.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ

Я взял газету
и лег на диван.
Читаю:
«Скучает
Молчанов Иван». —
Не скрою, Ванечка:
скушно и нам,
и ваши стишонки —
скуки вина.
Десятый Октябрь
у всех на носу,
а вы
ухватились
за чью-то косу.
Любите
и Машу
и косы ейные,
это
ваше
дело семейное.
Но что нам за толк
от вашей
от бабы!

Получше
стишки •
писали хотя бы.
Но плох ваш роман,
и стих неказист.
Вот так

любил бы
любой гимназист.
Вы нам обещаете,
скушный Ваня,
на случай нужды
пойти, барабана.
Де, будет

туман,
и отверзнете рот,
на весь

на туман
заорете:

«Вперед!»

Де,

«Выше взвивайте
красное знамя!
Вперед, переплетчики,
а я

за вами».

Орать

«Караул!»,
попавши в туман?
На это

не надо
большого ума.

Сегодняшний

день
возвеличить вам ли,
в хвосте

у событий
о девушках мямля!
Поэт

настоящий
вздувает
заранее
из искры неясной
ясное знание.

СОЛДАТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО

Тебе, поэт,
тебе, певун,
какое дело тебе
до ГПУ?
Железу —
незачем
комплименты лестные.
Тебя
нельзя
ни славить
и ни вымести.
Простыми словами
говорю —
о железной
необходимости.
Крепче держись-ка!
Не съест
врагу.
Солдаты
Дзержинского
Союз берегут.
Враги
вокруг республики рыскают.
Не к месту слабость
и разнеженность весенняя.
Будут
битвы
громше,
чем крымское
землетрясение.
Есть твердолобые
вокруг
и внутри —
зорче
и в оба,
чекист,
смотри!
Мы стоим
с врагом
о скулу скула,
и смерть стоит,
ожидает жатвы,





ГПУ — это нашей диктатуры кулак
сжатый.
Храни пути и речки,
кровь
и кров,
бери врага,
секретчики,
и крой,
Кро!

**РАССКАЗ ЛИТЕЙЩИКА
ИВАНА БОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ
В НОВУЮ КВАРТИРУ**

Я пролетарий.
Объясняться лишне.
Жил,
как мать произвела, родив.
И вот мне
квартиру
дает жилищный
мой
рабочий
кооператив.
Во — ширина!
Высота — во!
Проветрена,
освещена
и согрета.
Все хорошо.
Но больше всего
мне
понравилось —
это:
это
белее лунного света,
удобней,
чем земля обетованная,
это —
да что говорить
об этом,
это —
ванная.

В
ОДИНОЧКУ
НАС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЗАТРУТ,
КОЛДОГОВОР
ЗАЩИЩАЕТ
ТРУД



Профсоюзный плакат работы А. Родченко с текстом Маяковского (1924).



Профсоюзный плакат работы А. Родченко с текстом Маяковского (1924).

Хоть грязь
 на тебе
 десятилетнего стажа,
 с тебя,
 корою с дерева,
 чуть не лыком
 сходит сажа,
 смывается, стерва.
 И уж распаришься,
 разжаришься уж!
 Тут —
 вертай ручки:
 и каплет
 прохладный
 дождик-душ
 из дырчатой
 железной тучки.
 Ну уж и ласковость в этом душе!
 Тебя
 никакой
 не возьмет упадок:

чтоб на грудях
 коронованной Катьки
переливались
 изумруды.
У штолен
 в боках
корпели,
 пока —
Октябрь
 из шахт
 на улицы ринул —
и...
 разослала
 октябрьская ломка
к чертям
 орлов Екатерины
и к богу —
 Екатерины
 потомка.
И грабя
 и испепеляя,
орда растакая-то
прошла
 по городу,
 войну волоча.
Порол Пенеляев.
Свирепствовал Гайда.
Орлом
 клевался
 верховный Колчак.
Потухло
 знамен
 и пожаров пламя,
и лишь
 от него,
 как будто ожог,
сегодня
 горит
 — временам на память —
в свердловском небе
 красный флажок.
По ним
 с простора
 от снега светлого



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

встает
новорожденный
город Свердлова.

Полунебоскребы
лесаи поднял,
чтоб в электричестве
мыть вечера,
а рядом —
гриб,
дыра,
преисподняя,
как будто
у города
нету
«сегодня»,
а только —
«завтра»
и «вчера».

В саях
промежду
бирж и трестов
свисти
во весь
широченный проспект.

И...
заколдованное место:
вдруг
проспект
обрывает разбег.

Просыпали
в ночь
расчернее могилы
звезды — табачишко
из неба кисета,
и грудью
топок
дышат Тагилы
да трубки
заводов
курят в Исети.

✽

У этого
города
нету традиций,

бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли,
Урала,
труда
и энергии.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Дрянь адмиральская,
пан
и барон
шли
от шестнадцати
разных сторон.
Пушка —
французская,
английский танк.
Белым
папаша —
антантовый стан.
Вилась
Советская
наша страна,
дни
грохотали
разрывом гранат.
Не для разбоя
битва зовет:
мы
защищаем
поля и завод.
Шли деревенские,
лезли из шахт,
дрались
голодные
в рвани
и вшах.
Серые шлемы
с красной звездой

белой ораве
крикнули —
стой!

Били Деникина,
били
Махно,
так же
любого
с дороги смахнем.

Хрустнул,
проломанный,
Крыма хребет.

Красная
крепла
в громе побед.

С вами
сливалось,
победу растя,
сердце —
рабочих,
сердце —
крестьян.

С первой тревогою,
с наших низов,
стомиллионные,
встанем на зов.

Землю колебля,
в новый поход
двинут
дивизии
красных пехот.

Помня
принятие
красных присяг,
лава
Буденных
пойдет
на-рысях.

Против
буржуевых
новых блокад
красные
птицы
займут облака.

Крепни
и славься
в битвах веков,
Красная
армия
большевиков!

КАЗАНЬ

Стара,
коса
стоит
Казань.
Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»
По-родному
таратора,
снегом
лужи
намарав,
у подворья
в коридоре
люди
смотрят номера.
Кашляя
в рукава,
входит —
робковат,
глаза таращит.
Приветствую товарища.
Я
в языках
не очень натаскан —
что норвежским,
что шведским мажь.
Входит татарин:
«Я
на татарском
вам
прочитаю
«Левый марш».
Входит второй.
Косой в скуле.





И говорит,
в карманах порыскав:

«Я — мариец.
Твой «Левый»

дай тебе прочту по-марийски».
Эти вышли.

Шедших этих
в низкой двери встретил третий.

«Марш ваш —
наш марш.
Я —

чуваш,
послушай,
уважь.

Марш вашинский
так по-чувашки...»
Как будто

годы
взял за чуб я:

— Станьте
и не пылите-ка! —

Рукою
своею собственной
щупаю

бестелое слово
«политика».

Народы,
жившие въямась в нужду,
притершись

Уралу ко льду,
ворвались в дверь,
идя

на штурм,
на камень,
на крепость культур.

Крива,
коса
стоит
Казань.

Шумит
бурун:
«Шурум...
бурум...»



Т Р У С

В меру
и черны́ и русы,
пряча взгляды,
пряча вкусы,
боком,
тенью,
в стороне —
пресмыкаются труссы
в славной
смелыми
стране.
Каждый зав
для труса —
туз.

Даже
от его родни
опускает глазки трус
и уходит
в воротник.

Влип
в бумажки
парой глаз,
ног
поджаты циркуля:
«Схорониться б
за приказ...
Спрятаться б
за циркуляр...»

Не поймешь,
мужчина,
рыба ли, —
междометья
зря
не выпалит.

Где уж
подпись и печать!
«Только бы
меня не выбрали,

День-деньской
узлы сплетает тонко
самых страннх свадеб —
увязать бы льва с ягненком,
с кошкой мышь согласовать бы.
Весь день сердечко ужас кроит,
предлогов для трепета — кипа.
Боятся автобусов и Эркаи,
начальства, жены и гриппа.
Месткома, домкома, просящих взаимы,
кладбища, милиции, леса,
собак, погоды, сплетен,
зимы
и показательных процессов.
Подрожит и ляжет житель,
дрожью ночь карежит тело...
Товарищ, чего вы дрожите?
В чем, собственно, дело?
В аквариум, что ли, сажать вас?
Революция требует, чтобы имелась
смелость, смелость и еще раз —
с-м-е-л-о-с-т-ь.

Е В П А Т О Р И Я

Чуть вздыхает волна,
 и, вторя ей,
 ветерок
 над Евпаторией.
 Ветерки эти самые
 рыскают,
 глядят
 щеку евпаторийскую.
 Ляжем
 пляжем
 в песочке рыться мы
 бронзовыми
 евпаторийцами.
 Скрип уключин,
 всплески
 и крики, —
 развлекаются
 евпаторийки.
 В дым черны
 в тубетейках ярких
 караимы
 евпаторьяки.
 И сравнясь,
 загорают рьяней
 москвичи —
 евпаторьяне.
 Всюду розы
 на ножках тонких.
 Радуются
 евпаторёнки.
 Все болезни
 выжмут
 горячие
 грязи
 евпаторячьи.
 Пуд за лето
 с любого толстого
 соскребет
 евпаторство.
 Очень жаль мне
 тех,
 которые
 не бывали
 в Евпатории.



РАССКАЗ РАБОЧЕГО ПАВЛА КАТУШКИНА
О ПРИОБРЕТЕНИИ ОДНОГО ЧЕМОДАНА



Я
завел
 чемоданчик, братцы.
Вещь —
 загранице ноздрю утри.
Застежки,
 ручки
 (чтоб, значит, браться),
а внутри...
Внутри
 в чемодане —
 освещенье трехламповое,
на фибровой крышке —
 чертеж-узор,
и тот,
 который
 музыку нахлопывает,
репродуктор —
 типа Диффузор.
Лезу на крышу,
 сапоги разул.
Поставил
 на крыше
 два шеста.
Протянул антенну,
 отвел грозу, —
словом —
 механика,
 и никакого волшебства.
Помещение, знаете, у меня —
 малё! —
гостей принимать
 возможности не далё,
путь, конечно, тоже
 до нас
 длинен.
А тут к тебе
 из чемодана:
 «Ало, ало! —
к вам сейчас
 появится
 товарищ Калинин!»

Очень приятно это —
 Завтра — р-а-д-и-о!
 праздник.
 В самую рань
 слушать музыку
 сяду я.
 Правда, часто
 играют и дрянь,
 но это — дело десятое.
 Покончил с житьишком
 пьяным
 и сонным,
 либо — с лекцией,
 с музыкой либо.
 Советской власти с Поповыми и Эдисонами
 от всей души пролетарское спасибо!

РАЗГОВОР С ТОВАРИЩЕМ ЛЕНИНЫМ

Грудой дел,
 суматохой явлений
 день отошел,
 постепенно стемнев.
 Двое в комнате:
 я
 и Ленин —
 фотографией
 на белой стене.
 Рот открыт
 в напряженной речи,
 усов
 щетинка
 вздернулась ввысь,
 в складках лба
 зажата
 человечья.



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

в огромный лоб
 Должно быть, огромная мысль.
 под ним
 проходят тысячи...
 Лес флагов...
 рук трава...
 Я встал со стула,
 радостью высвечен, —
 хочется
 итти,
 приветствовать,
 рапортовать!
 «Товарищ Ленин,
 я вам докладываю
 не по службе,
 а по душе.
 Товарищ Ленин,
 работа адская
 будет
 сделана
 и делается уже.
 Освещаем,
 одеваем нищ и бголь,
 ширится
 добыча
 угля и руды.
 А рядом с этим,
 конечно,
 много,
 много
 разной
 дряни и ерунды.
 Устаешь
 отбиваться и отгрызаться.
 Многие
 без вас
 отбились от рук.
 Очень
 много
 разных
 мерзавцев
 ходят
 гордо
 по нашей земле
 и вокруг.

Нету
им
ни числа,
ни клочки,
целая
лента типов
тянется.
Кулаки и волокитчики,
подхалимы,
сектанты
и пьяницы, —
ходят,
гордо
выпятив груди,
в ручках сплошь
и в значках нагрудных.
Мы их
всех,
конешно, скрутим,
но всех
скрутить
ужасно трудно.
Товарищ Ленин,
по фабрикам дымным,
по землям,
покрытым
и снегом
и жнивьем,
вашим,
товарищ,
сердцем
и именем
думаем,
дышим,
боремся
и живем!»
Грудой дел,
суматохой явлений
день отошел,
постепенно стемнев.
Двое в комнате:
я
и Ленин —
фотографией
на белой стене.

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ



Добьемся урожая мы, —
втройне,

земля,
рожай!

Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!
Чтоб даром не потели мы
по одному,

по два, —
колхозами,

артелями
объединись, братва.
Земля у нас хорошая,
землица не плоха,
да надобно

под рожь ее
заранее вспахать.
Чем жить, зубами щелкая
в голодные года,
с проклятою

с трехполкою
покончим навсегда.

Вредителю мы
начисто

готовим карачун.
Сметем с полей
кулачество,

сорняк
и саранчу.

Разроем складов завали.
От всех

ответа ждем,
чтоб тракторы
не ржавели
впустую под дождем.

Поля
пройдут науку
под ветром-игруном.

Даешь
на дружбу руку,
товарищ агроном!

34933320
3023109033



В. МАКОВСКИЙ

Кӧ лияш?

КАКОМЪМЪ ДИТЯМЪ БЫТИ?



В. МАЛАКОВСКИЙ

Ким вуолуооа?

«ВУОЛУОА ДИТЯТА?»



В. МАКОВСКИЙ

Кена олла?

КАКОМЪМЪ ДИТЯМЪ БЫТИ?



V. MALAKOVSKI

Kjm volsam eken?

КАКОМЪМЪ ДИТЯМЪ БЫТИ?

Обложка книги «Кем быть?» в переводах на языки народов СССР: марийский (восточно-луговой), якутский, карельский и кара-калпакский.

Земля
не хочет более
терпеть
плохой уход, —
готовься,
комсомолия,
в передовой поход.
Кончай
с деревней сereнькой,
вставай, который сер!
Впередгонки
с Америкой
иди, СССР!
Добьемся урожая мы, —
втройне,
земля,
рожай!
Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

К Е М Б Ы Т Ь ?

У меня растут года —
будет мне семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?

Нужные работники —
столяры и плотники!
Сработать мебель мудрено:
сначала

мы
берем бревно
и пилим доски,
длинные и плоские.
Эти доски
вот так
зажимает
стол-верстак.
От работы
пила
раскалилась добела.
Рубанок
в руки —
работа другая:

сучки, закорюки
рубанком стругаем.
Хороши стружки,
желтые игрушки!
А если

нужен шар нам
круглый очень,
на станке токарном
круглое точим.
Готовим понемножку
то ящик,
то ножку.
Сделали вот столько
стульев и столиков!

Столяру — хорошо,
а инженеру —
лучше.
Я бы строить дом пошел —
пусть меня научат.

Я
сначала
начерчу
дом
такой,
какой хочу.
Самое главное,
чтоб было нарисовано
здание
славное,
живое словно.
Это будет
перёд —
называется фасад.
Это
каждый разберет:
это — ванна,
это — сад.
План готов,
и вокруг
сто работ
на тыщу рук.
Упираются леса
в самые небеса.



Иллюстрация Ю. Пименова к стихотворению «Конь-огонь».

Где трудна работка,
там
визжит лебедка,
подымает балки,
будто палки,
перетащит кирпичи,
закаленные в печи.
По крыше выложили жечь —
и дом готов,
и крыша есть.

Хороший дом,
большущий дом
на все четыре стороны,
и заживут ребята в нем
удобно и просторно.

Инженеру хорошо,
а доктору —
лучше.
Я б детей лечить пошел —
пусть меня научат.

Детям
я
лечу болезни, —
где занятие полезней?
Я приеду к Пете,
я приеду к Поле.
«Здравствуйте, дети!
Кто у вас болен?
Как живете?
Как животик?»
Погляжу
из очков
кончики язычков.
«Поставьте этот градусник
подмышку, детишки!»
И ставят дети радостно
градусник подмышки.
«Вам бы
очень хорошо
проглотить порошок
и микстуру
ложечкой
пить понемножечку...



Рекламный плакат Резинотреста. Текст и рисунок
Маяковского (1924).



Вам
 в постельку лечь поспать
 Вам — компресс на живот,
 и тогда
 у вас до свадьбы
 все, конечно, заживет».

Докторам хорошо,
 а рабочим —
 лучше.
 Я б в рабочие пошел —
 пусть меня научат.

Вставай!
 Иди!
 Гудок зовет,
 и мы приходим на завод.
 Народа — рота целая,
 сто или двести.
 Чего один не сделает —
 сделаем вместе.
 Можем
 железо
 ножницами резать,
 краном висящим
 тяжести тащим,
 молот паровой
 гнет и рельсы травой.
 Олово плавим,
 машинами правим.
 Работа всякого
 нужна одинаково.
 Я гайки делаю,

а ты
 для гайки
 делаешь винты.

И идет
 работа всех
 прямо в сборочный цех.
 Болты,
 лезьте
 в дыры ровные,

части
 вместе
сбей
 огромные.
Там
 дым,
здесь
 гром.
Гро-
 мим
весь
 дом.
И вот
 вылазит паровоз,
чтоб вас
 и нас
 и нес
 и вез.

На заводе хорошо,
а в трамвае —
 лучше.
Я б кондуктором пошел —
пусть меня научат.

Кондукторам
 езда везде —
с большою сумкой кожаной,
ему всегда,
 ему весь день
в трамваях ездить можно.
«Большие и дети,
берите билетик,
билеты разные,
бери любые,
зеленые,
 красные
и голубые!»
Ездим рельсами.
Окончилась рельса,
и слезли у леса мы —
садись
 и грейся.

Кондукторам хорошо,
а шоферу —
лучше.

Я б шофером пошел —
пусть меня научат.

Фырчит машина скорая,
летит скользя.
Хороший шофер я —
сдержать нельзя.
Только скажите,
вам куда надо —
без рельсы
жителей
доставлю на дом.

Е-
дем,
ду-
дим:
«С пу-
ти
уй-
ди!»

Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше.

Я бы в летчики пошел —
пусть меня научат.

Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
«В небеса, мотор, вези,
чтоб взамен низин
рядом
птицы пели».
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.

Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
пролетаю гору.

«Вези, мотор,
чтоб нас довед
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем удалены».

Летчику хорошо,
а матросу —
лучше.
Я б в матросы пошел —
пусть меня научат.

У меня на шапке лента,
на матроске
якоря.
Я проплавал это лето,
океаны покоря.
Напрасно, волны, скачете —
на зависть циркачу,
на реях и по мачте
гуляю, как хочу.
Сдавайся, ветер вьюжный,
сдавайся, буря скверная, —
открою
полюс
Южный,
а Северный —
наверное.

Книгу переворошив,
намотай себе на ус —
все работы хороши,
выбирай
на вкус!

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Я волком бы
выгрыз
бюрократизм.
К мандатам
почтения нету.



Маяковский (Париж, 1925).

берут,
не моргнув,
паспорта датчан
и разных
прочих
шведов.
И вдруг —
как будто
ожогом
рот
скривило
господину.
Это
господин чиновник
берет
мою
краснокожую паспортину.
Берет —
как бомбу,
берет —
как ежа,
как бритву
обоюдоострую,
берет,
как гремучую,
в 20 жал,
змею
двухметроворостую.
Моргнул
многозначаше
глаз носильщика,
хоть вещи
снесет задаром вам.
Жандарм
вопросительно
смотрит на сыщика,
сыщик —
на жандарма.
С каким наслажденьем
жандармской кастой
я был бы
исхлёстан и распят
за то,
что в руках у меня
молоткастый,

**СТОЛОВОЕ
МАСЛО
— ВНИМАНИЕ —
РАБОЧИХ МАСС**

**ВТРОЕ
ДЕШЕВЛЕ
КОРОВЬЕГО!
ПИТАТЕЛЬНЕЕ
ПРОЧИХ МАСЛ!**



**НЕТ
НИГДЕ
КРОМЕ**

**КАК
В
МОССЕЛЬПРОМЕ**

Рекламный плакат Моссельпрома. Текст Маяковского.
Рисунок А. Родченко (1924).

серпастый советский паспорт.
Я волком бы выгрыз бюрократизм.
К мандатам почтения нету.
К любым чертям с матерями
катись



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

любая бумажка. Но эту...
 я достаю из широких штанин
 дубликатом бесценного груза.
 Читайте, завидуйте,
 я — гражданин
 Советского Союза.

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

За море синеволное,
 за сто земель и вод
 разлейся, песня-молния,
 про пионерский слет.
 Идите, слов не тратя,
 на красный наш костер!
 Сюда, миллионы братьев,
 сюда, миллионы сестер!
 Китайские акулы,
 умерьте вашу прыть, —
 мы с китайчком-кули
 пойдем акулу крыть.
 Веди светло и прямо
 к работе и к боям,
 моя большая мама —
 республика моя.
 Растем от года к году мы,
 смотри, земля-старик, —

кто восхода
жизни зарево,
услышав в крови
аудёж,
на романы
разбазаривает.
Разве
это молодость?
Нет!
Мало
быть
восемнадцати лет.
Молодые —
это те,
кто бойцовым
рядам поределым
скажет
именем
всех детей:
«Мы
земную жизнь переделаем!»
Молодежь —
это имя —
дар
тем,
кто влит в боевой КИМ,
тем,
кто бьется,
чтоб дни труда
были радостны
и легки!



ქართული
ბიბლიოთეკა

ПОЭМЫ



ОБЛАКО В ШТАНАХ

(Отрывки из поэмы)

Пролог

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца доскут;
досыта изъяздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в ней!
Мир огромив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться —
из гостиной батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный
и, как небо, меняя тона —
хотите —
буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные как больница,
и женщины, истрепанные как пословица.

Часть вторая

Славьте меня!
Я великим не чета.
Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Никогда
ничего не хочу читать.
Книги?
Что книги!

Я раньше думал —
книги делаются так:
пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу зашел вдохновенный протак —
пожалуйста!
А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размолов от брожения.
И тихо барахтается в тине сердца
глухая вобла воображения.
Пока выкипчивают, рифмами пиликают,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая —
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордись, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

*Алексю Максимовичу
Горькому В. В. Маяковский*
В. В. МАЯКОВСКИЙ.

ОБЛАКО В ШТАНАХ.

ТЕТРАПТИХ.

Титульный лист первого издания поэмы «Облако в штанах» с автографом Маяковского Алексею Максимовичу Горькому (1915).



О. М. Брик. Рисунок Маяковского (1916).

Улица муку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Топорщились застрявшие поперек горла
пухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки плеще.

Город дорогу мраком запер.
И когда —
все-таки! —
выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:
в хорах архангелова хорала
бог, ограбленный, идет карать!
А улица присела и заорала:
«Идемте жрать!»

Гримируют городу Крупны и Крупники
грозящих бровей морщ,

а во рту
умерших слов разлагаются трупники,
только два живут жирея:
«сволочь»
и еще какое-то,
кажется — «борщ».

Поэты,
размокшие в плаче и вскрипе,
бросились от улицы, ероша космы.
«Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?»
А за поэтами —
уличные тыщи:
студенты,
проститутки,
подрядчики.
Господа!
Остановитесь!
Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,
присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:
«Помоги мне!»
Молить о гимне,
об оратории!
Мы сами творцы в горящем гимне —
шуме фабрики и лаборатории.

Что мне до Фауста,
феерней ракет
скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!
Я знаю —
гвоздь у меня в сапоге
кошмарней, чем фантазия у Гете!

Я,
златоустейший,
чье каждое слово
душу новородит,
именинит тело,
говорю вам:
мельчайшая пылинка живого
ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!
Проповедует,
мечась и степя,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра.
Мы,
каторжане города-лепрозория,
где золото и грязь изъязвили проказу, —
мы чище венецианского лазорья,
морями и солнцами омытого сразу!

Плсвать, что нет
у Гомеров и Овидиев
людей, как мы,
от копотн в оспе.
Я знаю —
солнце померкло б, увидев
наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы — молитв верней.
Нам ли вымаливать милостей времени!
Мы —
каждый —
держим в своей пятерне
миров приводные ремни!
Это взвело на Голгофы аудиторий
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,
и не было ни одного,
который
не кричал бы:
«Распни,
распни его!»
Но мне —
люди,



Маяковский (1915).

и те, что обидели, —
вы мне всего дороже и ближе.

Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрёзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

Где глаз людей обрывается куцый,
главой голодных орд
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча,
я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.
Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю, —
вам я
душу вытащу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.



Л Ю Б Л Ю

ОБЫКНОВЕННО ТАК

Любовь любому рожденному дадена, —
но между служб,
доходов
и прочего
со дня на день
очерствеет сердечная почва.
На сердце тело надето.
На тело рубаха.
Но и этого мало.
Один —
идиот! —
мажеты наделал
и груди стал заливать крахмалом.
Под старость спохватятся.
Женщина мажется.
Мужчина по Мюллеру мельницей машется.
Но поздно.
Морщинами множится кожа.
Любовь поцветет,
поцветет
и скукожится.

МАЛЬЧИШКОЙ

Я в меру любовью был одарённый.
Но с детства
людье
трусами муштровано.



Маяковский-гимназист (1905).

А я —
убёг на берег Риона
и плялся,
ни чорта не делая ровно.
Сердилась мама:
«Мальчишка паршивый!»
Грозился папаша поясом выстегать.
А я,
разживясь трехрублевкой фальшивой,
играл с солдатём под забором в три листика.
Без груза рубах,
без башмачного груза
жарился в кутаисском зное.
Вворачивал солнцу то спину,
то пузо —
пока подложечкой не заноеет.
Дивилось солнцу:
«Чуть виден весь-то!
А тоже,
с сердечком. —
Старается малым!
Откуда
в этом
в аршине место —
и мне,
и реке,
и стоверстым скалам?!»

юношга

Юношеству занятый масса.
Грамматикам учим дурней и дур мы.
Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы.
В вашем
квартирном
маленьком мирике
для спален растут кучерявые лирики.
Что выищешь в этих болоночьих лириках?!
Меня вот
любить
учили
в Бутырках.
Что мне тоска о Булонском лесе?!
Что мне вздох от видов на море?!

Я вот
в «бюро похоронных процессий»
влюбился
в глазок 103-й камеры.
Глядят ежедневное солнце.
Знают.
«Чего — мол — стоят лученышки эти?»
А я —
за стенного
за желтого зайца
отдал тогда бы — всё на свете.

МОЙ УНИВЕРСИТЕТ

Французский знаете.
Делите.
Склоняете чудно.
Множите.
Ну и склоняйте!
Скажите, —
а с домом спеться
можете?
Язык трамвайский вы понимаете?
Птенец человеческий,
чуть только вывелся,
за книжки рукой,
за тетрадные дести.
А я обучался азбуке с вывесок,
листая страницы железа и жести.
Землю возьмут,
обкорнав,
ободрав ее —
учат.
И вся она — с крохотный глобус.
А я
боками учил географию;
недаром же
наземь
почевкой хлопаюсь!
Мутят Иловайских большие вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы? —
Пускай!
Не копаюсь в пропыленном вздоре я —
любая в Москве мне известна история!
Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), —

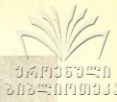


Л. Ю. Брик. Рисунок Маяковского (1916).



И. Е. Репин и К. И. Чуковский. Шарж Маяковского (1916).

фамилья ж против,
скулит родовая. —
Я
жирных
с детства привык ненавидеть, —
всегда
себя
за обед продавая.
Научатся,
сядут, —
чтоб нравиться даме,
мыслишки звякают лбенками медненькими.
А я
говорил
с одними домами.
Одни водокачки мне собеседниками.
Окном слуховым внимательно слушая,
ловили крыши — что брошу в уши я?
А после
о ночи
и друг о друге
трещали,
язык ворочая — флюгер.



ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

**ПРОСТОЕ
КАКЪ
МЫЧАНІЕ**

ПЕТРОГРАДЪ

Издательство „ПАРУСЪ“ А. Н. Тихонова

1916.

Обложка книги Маяковского «Простое как мычание», изданной
Максимом Горьким (1916).



У взрослых дела.
 В рублях карманы.
 Любить?
 Пожалуйста!
 Рубликов за сто.
 А я,
 бездомный,
 ручища
 в рваный
 в карман засунул
 и шлялся, глазастый.
 Ночь.
 Надеваете лучшее платье.
 Душой отдыхаете на женах, на вдовах.
 Меня
 Москва душила в объятьях
 кольцом своих бесконечных Садовых.
 В сердца,
 в часики
 любовницы тикают.
 В восторге партнеры любовного ложа.
 Столиц сердцебиение дикое
 ловил я
 Страстною площадью лежа.
 Враспашку —
 сердце почти что снаружи —
 себя открываю и солнцу и луже.
 Входите страстями!
 Любовями влазьте!
 Отныне я сердцем править не властен.
 У прочих знаю сердца дом я.
 Оно в груди — любому известно!
 На мне ж
 с ума сошла анатомия.
 Сплошное сердце —
 гудит повсеместно.
 О, сколько их,
 одних только вёсен,
 за 20 лет в распалённого ввалено!
 Их груз нерастраченный — просто несносен.
 Несносен не так,
 для стиха,
 а буквально.

что вышло

Больше чем можно,
больше чем надо, —
будто
поэтовым бредом во сне навис —
комок сердечный разросся громадой:
громада любовь,
громада ненависть.
Под ношей
ноги
шагали шатко
— ты знаешь,
я же
ладно слажен —
и всё же
тащусь сердечным придатком,
плеч подгибая косую сажень.
Взбухаю стихов молоком
— и не вылиться —
некуда кажется — полнится заново.
Я вытомлен лирикой —
мира кормилица,
гипербола
прообраза Мопассанова.

зову

Поднял силачом,
понес акробатом, —
как избирателей сзывают на митинг,
как села
в пожар
созывают набатом, —
я звал:
«А вот оно!
вот!
возьмите!»
Когда
такая махина ахала —
не глядя,
пылью,
грязью,
сугробом,
дамьё
от меня
ракетой шарахалось:



«Нам чтобы поменьше,
нам вроде танго бы...»
Нести не могу —
и несу мою ношу.
Хочу ее бросить —
и знаю,
не брошу!
Распора не сдержат рёбровы дуги.
Грудная клетка трещала с натуги.

Ты

Пришла —
деловито
за рыком,
за ростом,
взглянув,
разглядела просто мальчика.
Взяла,
отобрала сердце
и просто
пошла играть —
как девочка мячиком.
И каждая, —
чудо будто видится —
где дама вкопалась,
а где девица.
«Такого любить?
Да этакий ринется!
Должно, укротительница,
должно, из зверинца!»
А я ликую.
Нет его —
ига!
От радости себя не помня,
скакал,
индейцем свадебным прыгал, —
так было весело,
было легко мне.

Невозможно

Один не смогу —
не снесу рояля
(тем более
несгораемый шкаф).
А если не шкаф,



ქართული
ენობის ცენტრი

О
Б
Л
А
К
О

В

Ш
Т
А
Н
А
Х

2-е ИЗДАНИЕ
БЕЗ ЦЕНЗУРЫ

Обложка второго издания поэмы «Облако в штанах» (1918).

не рояль,
то я ли
сердце снес бы — обратно взяв.
Банкиры знают:
«Богаты без края мы.
Карманов нехватит —
кладем в негораемый».
Любовь
в тебя,
богатством в железо,
запрятал,
хожу
и радуюсь Крезом.
И разве,
если захочется очень,
улыбку возьму,
пол-улыбки
и мельче,
с другими кутя,
протрачу в полночи
рублей пятнадцать лирической мелочи.

так и со мной

Флоты — и то стекаются в гавани.
Поезд — и то к вокзалу гонит.
Ну а меня к тебе и подавней
— я же люблю —
тянет и клонит.
Скупой спускается Пушкинский рыцарь
подвалом своим любоваться и рыться.
Так я
к тебе возвращаюсь, любимая.
Мое это сердце,
любуюсь моим я.
Домой возвращаетесь радостно.
Грязь вы
с себя соскребаете, бреясь и моясь, —
так я
к тебе возвращаюсь, —
разве,
к тебе идя,
не иду домой я?!
Земных принимает земное лоно.
К конечной мы возвращаемся цели.
Так я

к тебе
тянусь неуклонно,
еле расстались,
развиделись еле.

Вывод

Не смоят любовь
ни ссоры,
ни версты.
Продумана,
выверена,
проверена.
Подъемля торжественно стих строкопёрстый,
клянусь —
люблю
неизменно и верно!

ПРО ЭТО

Пролог

про что — про это:

(Ей и мне)

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра вострит на хозяев нож.
Если Марс
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
— Скреби! —



И калека
с бумаги
срывается в клёкоте,
только строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —

Эта тема придет,
велит:
— Красота! —

И пускай
перекладиной кисти раскистены,
только вальс под нос мурлычень с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна? —
и становится

А

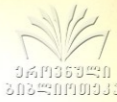
недоступней Казбека.

Замутит,
оттянет от хлеба и сна.
Эта тема придет,
вовек не изнаосится,
только скажет:
— Отныне гляди на меня! —

И глядишь на нее
и идешь знаменосцем,
красношелкий огонь над землей знамени.
Это хитрая тема!

Нырнет под события,
в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
и как будто ярьась —
посмели забыть ее! —
затрясет —

посыпятся души из шкур.
Эта тема ко мне заявила гневная,



приказала:

— Подать _____ дней удилá! —

Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
и грозой раскидала людей и дела.
Эта тема пришла,

_____ остальные оттерла

и одна

_____ безраздельно стала близка.

Эта тема ножом подступила к горлу.
Молотобоец!

_____ От сердца к вискам.

Эта тема день истемнила в темень,
колотись — велела — строчками лбов.
Имя

_____ этой

_____ теме:

_____ !

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Третья часть

Если бы
 выставить в музее
плачущего большевика,
весь день бы
 в музее
 торчали ротозей.

Еще бы —
 такое
 не увидишь и в века!
Пятиконечные звезды
 выжигали на наших спинах
 панские воеводы.

Живьем
 по голову в землю
 закапывали нас банды
 Мамонтова.

В паровозных топках
 сжигали нас японцы,
рот заливали свинцом и оловом.
— Отрекитесь! — ревели,
 но из
горящих глоток
 лишь три слова:
— Да здравствует коммунизм! —
Кресло за креслом,
 ряд в ряд.

В. Маяковскій.

**ВОЙНА
И МІРЪ.**



Изд. „ПАРУСЪ“ Птг.
1917.

Обложка поэмы «Война и мир», изданной Максимом Горьким
(1917).



Обложка журнала «Лев» (1925).

И мужичонко,
 видавший виды,
смерти
 в глаза
 смотревший не раз,
отвернулся от баб,
 но выдала
кулаком
 растертая грязь.
Были люди — кремень,
 и эти
прикусились,
 губу уродуя.
Стариками
 рассерьезничались дети,
и, как дети,
 плакали седобородые.
Ветер
 всей земле
 бессонницею выл,
и никак
 восставшей
 не додумать до конца,
что вот гроб
 в морозной
 комнатёночке Москвы
революции
 и сына и отца.
Конец,
 конец,
 конец.
 Кого
уверить!
 Стекло —
 и видите под...
Это
 его
 несут с Павелецкого
по городу,
 взятому им у господ.
Улица —
 будто рана сквозная,
так болит
 и стонет так.

за ним
 пошла бы
 в огонь и в дым.

Здесь
 Ленина
 знает
 каждый рабочий,
сердца́ ему
 ветками елок стели.

Он в битву вел,
 победу пророчил,
и вот
 пролетарий —
 всего властелин.

Здесь
 каждый крестьянин
 Ленина имя
в сердце
 вписал
 любовней, чем в святцы.

Он зёмли
 велел
 назвать своими,
что дедам
 в гробах
 засеченным снятся.

И коммунары
 с-под площади Красной,
казалось,
 шепчут:
 «Любимый и милый!

Живи —
 и не надо
 судьбы прекрасней, —
сто раз сразимся
 и ляжем в могилы!»

Сейчас
 прозвучали б
 слова чудотворца,
чтоб нам умереть
 и его разбудят, —
плотина улиц
 враспанку растворится,
и с песней
 на́ смерть
 ринутся люди.



Экспонат
Музея
Ленина

Но нету чудес,
 и мечтать о них
 Есть Ленин,
 гроб
 и согнутые плечи.
 Он был человек
 до конца человеческого —
 неси
 и казись
 тоской человеческой.
 Вовек
 такого
 бесценного груза
 еще
 не несли
 океаны наши,
 как гроб этот красный,
 к Дому союзов
 плывущий
 на спинах рыданий и маршей.
 Еще
 в караул
 вставала в почетный
 суровая гвардия
 ленинской выправки,
 а люди
 уже
 прожидают, впечатаны
 во всю длину
 и Тверской
 и Дмитровки.
 В семнадцатом
 было —
 в очередь дочери
 за хлебом не вышлешь:
 завтра сьем!
 Но в эту
 холодную
 страшную очередь
 с детьми и с больными
 встали все.
 Деревни
 строились
 с городом рядом.



То мужеством горе,
 Земля труда то детскими вызвенит
 Живым проходила парадом —
 Итогом ленинской жизни.
 Желтое солнце,
 Косое и лаковое,
 взоидет,
 лучами к подножью кидается.
 Как будто забитые,
 надежду оплакивая,
 склоняясь в горе,
 проходят китайцы.
 Вплывали
 ноци на спинах дней,
 часы мешая,
 путая даты.
 Как будто не ночь
 и не звезды на ней,
 а плачут над Лениным
 негры из Штатов.
 Мороз небывалый
 жарил подошвы.
 А люди
 днюют
 давкою тесной.
 Даже
 от холода
 бить в ладоши
 никто не решается —
 нельзя,
 неуместно.
 Мороз хватает
 и тащит,
 как будто
 пытается,
 насколько в любви закаленные.
 Врывается в толпы.
 В давку запутан,



вступает вместе с толпой за колени,
 Ступени растут, разрастаются в риф.
 Но вот затихает
 дыхание и пенье,
 и страшно ступить —
 под ногою обрыв,
 бездонный обрыв
 в четыре ступени.
 Обрыв от рабства в сто поколений,
 где знают лишь золота звонкий резон.
 Обрыв и край —
 это гроб и Ленин,
 а дальше —
 коммуна
 во весь горизонт.
 Что увидишь?!
 Только лоб его лишь,
 и Надежда Константиновна
 в тумане
 за...
 Может быть,
 в глаза без слез
 увидеть можно больше
 Не в такие
 я
 смотрел глаза.
 Знамен пльвущих
 склоняется шелк
 последней
 почестью отданной:
 «Прощай же, товарищ,
 ты честно прошел
 свой доблестный путь благородный».

Страх.
 Закрой глаза
 и не гляди —
 как будто
 идешь
 по проволоке провода.

Как будто
 минуту
 один-на-один,
остался
 с огромной
 единственной правдой.

✓ Я счастлив.
 Звонящего марша вода,
относит
 тело мое невесомое.
Я знаю —
 отныне
 и навсегда!
во мне
 минута
 эта вот самая.
Я счастлив,
 что я
 этой силы частица,
что общие
 даже слезы из глаз.
Сильнее
 и чище
 нельзя причаститься
великому чувству
 по имени —
 класс!

Знаменные
 снова
 склоняются крылья,
чтоб завтра
 опять
 подняться в бой:
«Мы сами, родимый, закрыли
орлиные очи твои».
Только б не упасть,
 к плечу плечо,
флаги вычернив
 и веками алая,
на последнее
 прощанье с Ильичем
шли
 и медлили у мавзолея.
Выполняют церемониал.



Экспонат
Экспонат

Говорили речи.
 Говорят — и ладно.
 Горе вот,
 что срок минуты
 мал —
 разве
 весь
 охватишь ненаглядный!
 Пройдут
 и наверх
 смотрят с опаской
 на черный,
 посыпанный снегом кружок.
 Как бешено
 скачут
 стрелки на Спасской!
 В минуту —
 к последней четверке прыжок.
 Замрите
 минуту
 от этой вести!
 Остановись,
 движенье и жизнь!
 Поднявшие молот,
 стыньте на месте.
 Земля, замри,
 ложись и лежи.
 Безмолвие.
 Путь величайший окончен.
 Стреляли из пушки,
 а может, из тысячи.
 И эта
 пальба
 казалась не громче,
 чем мелочь,
 в кармане бренчающая
 в нищем.
 До боли
 раскрыв
 убогое зрение,
 почти заморожен,
 стою не дыша.
 Встает
 предо мной
 у знамен в озарении

темный
земной неподвижный шар.
Над миром гроб неподвижен и нем.
У гроба — мы, людей представители,
чтоб бурей восстаний, дел и поэм
размножить то, что сегодня видели.
Но вот издалёка, оттуда, из алого,
в мороз, в караул умолкнувший наш
чей-то голос: — Шагом марш! —
Этого приказа и не нужно даже —
реже, ровнее, тверже дыша,
с трудом отрывая тела тяжесть,
с площади вниз вбиваем шаг.
Каждое знамя твердыми руками
вновь над головою взвито ввысь.
Топота потоп, сила кругами,
ширясь, расходится миру в мысль.
Общая мысль воедино созвешена
рабочих, крестьян и солдат-рубак:



— Трудно
будет республике без Ленина!

Надо заменить его — кем? И как?

— Довольно
валяться на перине клоповой!

Товарищ секретарь! На тебе — вот, —

просим приписать к ячейке еркаповой сразу, коллективно, весь завод... —

Смотрят буржуи, глазки раскоряча, дрожат от топота крепких ног.

Четыреста тысяч от станка горячих —

Ленину первый партийный венок.

— Товарищ секретарь, бери ручку...

Говорят — заменим... Надо, мол...

Я уже стар — берите внучека, не отстает — подай комсомол. —

Подшефный флот, подымай якоря в море

пора подводным кротам.

«По морям, по морям, нынче здесь, завтра там».



ՀԿՄՅԵՅԷՆ
ՅՈՅՇՈՂՈՅՅՅ

Рабы, разгибайте спины и колени!
Армия пролетариев, встань стройна!
Да здравствует революция, радостная и скорая!
Это — единственная великая война
из всех, какие знала история».

Х О Р О Ш О !

1

Время —
 вещь
 необычайно длинная;
были времена —
 прошли былинные.
Ни былин,
 ни эпосов,
 ни эпопей.
Телеграммой
 лети,
 строфа!
Воспаленной губой
 припади
 и попей
из реки
 по имени «Факт».
Это время гудит
 телеграфной струной.
это
 сердце
 с правдой вдвоем.
Это было
 с бойцами,
 или страной,
или
 в сердце
 было
 в моем.



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Я хочу,
 чтобы с этой книгой побыв,
 из квартирного мирка
 шел опять на плечах
 пулеметной пальбы,
 как штыком, строкой
 просверкав.
 Чтоб из книги через радость глаз,
 от свидетеля счастливого,
 в мускулы усталые
 лилась
 строящая и бунтующая сила.
 Этот день воспевать
 никого не найдем.
 Мы
 распнем карандаш на листе,
 чтобы шелест страниц,
 как шелест знамен,
 надо лбами годов
 шелестел.

2

«Кончайте войну!
 Довольно!
 Будет!
 В этом голодном году —
 неумоги». Врали:
 «Народа свобода,
 вперед, эпоха,
 заря...» —

Х О Р О Ш О !
25
1917

**ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО**

Обложка первого издания поэмы «Хорошо!» работы Л. Лисицкого (1927).

Где земля и где закон,
чтобы землю выдать
к лету?

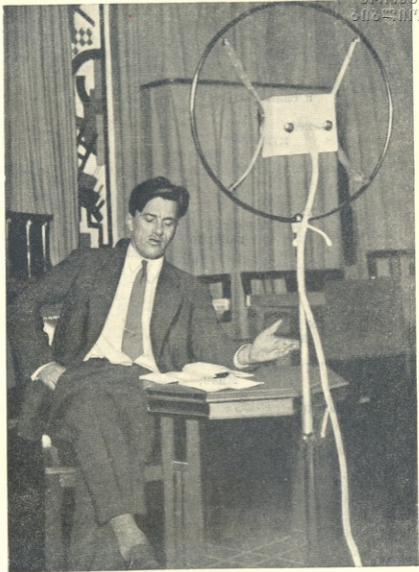
Нету!
Что же дают за февраль,
за работу, за то,
что с фронтов не бежишь?

Шин.
На шее кучей Гучковы,
черти, министры,
Родзянки...

Мать их за ноги!
«Власть к богатым
рыло воротит —
чего подчиняться ей?!

Бей!!»
То громом, то шопотом
этот ропот сползал
из Керенской тюрьмы-решета.

В деревни шел по травам и тропам,
в заводах сталью зубов скрежетал.
Чужие партии бросали швырком.



Маяковский у микрофона читает пьесу «Баня» (1929).*

На что им
 сбор
 болтунов
 дался?!
И отдавали
 большевикам
гроши,
 и силы,
 и голоса.
До самой
 мужичьей
 земляной башки
докатывалась слава —
 лилась
 и слыла,
что есть
 за мужиков
 какне-то
 «большаки» —
у-у-у! —
 сила!

3

Царям
 дворец
 построил Растрелли.
Цари рождались,
 жили,
 старели.
Дворец
 не думал
 о вертявном постреле,
не гадал,
 что в кровати,
 царицам вверенной,
раскинется
 какой-то
 присяжный поверенный.
От орлов,
 от власти,
 одеял
 и кружевца
голова
 присяжного поверенного
 кружится.

Забывши
и классы
и партии,
идет
на дежурную речь.
Глаза
у него
Бонапартьи
и цвета
защитного
френч.
Слова и слова.
Огнесловая лава.
Болтает
сорокой радостной.
Он сам
опьянен
своею славой
пьяней,
чем сорокаградусной.
Слушайте,
пока не устанете,
как щебечет
иной адъютантик:
«Такие случаи были —
он едет
в автомобиле.
Узнавши,
кто
и который,
толпа
распрягла моторы!
Взамен
лошадиной силы
сама
на руках носила!»
В аплодисментном
плеске
премьер
проплывает
над Невским,
и дамы
и дети-пузанчики
кидают
цветы и розанчики.

Если ж с безработы загрустится,
сам себя уверенно и быстро
назначает — то военным,
то каким-нибудь то юстиции,
еще министром.
И вновь возвращается,
сказав,
ворочать дела и вертеть казну.
Подмахивает подписи достойно
и старательно.
«Аграрные? Беспорядки? Ряд?
Пошлите этот — как его — карательный
отряд!
Ленин? Большевики? Арестуйте и выловите!
Что? Не дают? Не слышу без очков!
Кстати... об его превосходительстве... Корнилове...
Нельзя ли сговориться сюда казачков?!
Их величество? Знаю. Ну да!..



видавшая виды, —
 «Не спится, няня. Здесь так душно...»
 Пе Эн Милюков.

Открой окно
 да сядь ко мне».
 — Кускова,
 что с тобой? —
 «Мне скушно...

Поговорим о старине». —
 — О чем, Кускова?
 Я
 бывало

хранила
 в памяти
 немало
 старинных былей,
 небылиц —
 и про царей
 и про цариц.
 И я б,
 с моим умишкой хилым,
 короновала б
 Михаила.

Чем братъ
 династию
 чужую...
 Да ты
 не слушаешь меня?.. —
 «Ах, няня, няня,
 я тоскую.
 Мне тошно, милая моя.
 Я плакать,
 я рыдать готова...»
 — Господь помилуй
 и спаси...

Чего ты хочешь?
 Попроси.
 Чтобы тебе
 на нас
 не дуться,
 дадим свобод
 и конституций...
 Дай
 окроплю
 речей водою



საქართველო
პედაგოგიკური ინსტიტუტი

Дом в Москве, где жил Маяковский (б. Гендриков переулок, ныне переулок Маяковского).

горящий бунт... —
 я... «Я не больна,
 знаешь, няня... влюблена...»
 — Дитя мое, господь с тобою! —
 И Милюков ее
с мольбой
 крестил профессорской рукой. —
 Оставь, Кускова, в наши лета
 любить задаром
смысла нету. —
 «Я влюблена», шентала
снова

в ушко профессору она.
— Сердечный друг, ты нездорова. —
«Оставь меня, я влюблена».
— Кускова, нервы, — полечись ты... —
«Ах, няня, он такой речистый...
Ах, няня-няня! няня!
Ах!
Его же ж носят на руках.
А как поет он про свободу...
Я с ним хочу, — не с ним, так в воду».
Старушка тычется в подушку
и только слышно: «Саша!
Душка!»
Смахнувши слезы рукавом,
взревел усастый нянь: — В кого?
Да говори ты нараспашку! —
«В Керенского...» — В какого?
В Сашку? —
И от признания такого
лицо расплылось Милюкова.
От счастья профессор ожил:



— Ну, это что ж —
одно и то же!

При Николае
и при Саше
мы
сохраним доходы наши. —
Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в «Селекте» на Лиговке)

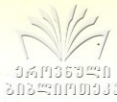
и штабс-капитан
Попов.
— Господин адъютант,
не возражайте,
не дам;
скажите,
чего еще

поджидаем мы?

Россию
жиды
продают жидам,
и кадровое
офицерство
уже под жидами!

Вы, конечно,
профессор,
либерал,
но казачество,
пожалуйста,
оставьте в покое.

Например,
мое положенье беря,
это...
чорт его знает, что это такое!



Сегодня с денщиком — ору ему:
«Эй,
наваксь
циблетину,
чтоб видеть рыло в ней». —
И, конечно, — к матушке,
а он меня — к моей,
к матушке,
к свет
к Елизавете Кирилловне!
— Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами,
но
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна. А мы —
Азия-с!
Я даже — социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу? Конечно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.
А эти?
От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.



Рабочий кабинет Маяковского.

Деньги
 штаба —
 шпионы и агенты.
 В Кресты бы
 тех,
 кто ездит в пломбированном!
 — С этим согласен,
 это конечно,
 этой сволочи
 мало повешено.
 — Ленин,
 который
 смуту сеет,
 председателем,
 што ли,
 совета министров?
 Что ты?!
 Рехнулась, старушка Расея?
 Касторки прими!
 Поправься!
 Выадорovy!



ՀԱՄԻՅԵՅԻ
ՀՈՅՆՈՒԹՅՈՒՆ

«В рог
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!»

Видят редких звезд глаза —
окружая Зимний
в кольца,
по Мильонной из казарм
надвигаются кексгольмцы.
Лучше власть добром оставь,
никуда тебе не деться!
Ото всех идут застав
к Зимнему красногвардейцы.
Отряды рабочих, матросов,
гóли
дошли, штыком домерцав,
как будто руки сошлись на горле,
холеном горле дворца.
Две тени встало. Огромных и шатких.
Сдвинулись. Лоб о лоб.
И двор дворцовый руками решетки
стиснул торс толп.
Качались две огромных тени

от ветра и пуль скоростей,
да пулеметы — будто хрустенъе
ломаемых костей.
Серчают стоящие павловцы.
«В политику... начали... баловаться...
Куда против нас бочкаревским дурам?!
Приказывали б на штурм».
Но тень боролась, спутав лапы,
и лап никто не разнимал и не рвал.
Не выдержав молчания, сдавался слабый —
уходил от испуга, от нерва.
Первым, боязнью одолён,
снялся бабий батальон.
Ушли с батарей к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
А Керенский — спрятался, попробуй
вымань его!
Задумывалась казачья башка.
И редели защитники Зимнего,
как зубья у гребешка.

И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.

А в Зимнем,
в мягких мебелих
с бронзовыми выкрутами,
сидят

министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.

На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.

Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.

Голос — редок.
Шопотом,
знаками.
— Керенский где-то?
— Он?

За казаками. —
И снова молча.
И только

под вечер:
— Где Прокопович?
— Нет Прокоповича. —
А из-за Николаевского
чугунного моста,
как смерть,

глядит
неласковая
Аврорых
башен
сталь.

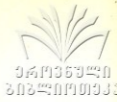
И вот
высоко
над воротником

поднялось
лицо Коновалова.
Шум,
который
тек родником,
теперь
прибоем наваливал.
Кто длинный такой?.. Дотянуться смог!
По каждому
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху
город
как будто взорван —
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна, —
над Петропавловской
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ! Вперед!
На приступ! —
Ворвались.
На ковры!
Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
каждый выступ
брали,
перешагивая
через юнкеров.
Как будто
водою
комнаты полня,

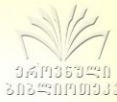


Главная улица села Багдади.

текли,
 сливались
 над каждой потерей,
 и схватки
 вспыхивали
 жарче полдня
 за каждым диваном,
 у каждой портьеры.
 По этой
 анфиладе,
 приветствиями бранной
 монархам,
 несущим
 короны-клады,
 бархатными залами,
 раскатистыми коридорами
 гремели,
 бились
 сапоги и приклады.
 Какой-то
 смущенный
 сукиц сын,



а над ним — путиловец,
 — Ты, нежней папаша:
 парнишка, выкладывай
 ворованные часы —
 часы теперича
 наши! —
 Топот рос и тех
 тринадцать
 сгреб, забил,
 зашиб,
 затыркал.
 Забились, под галстук
 — за что им приняться? —
 как будто топор
 навис над затылком.
 За двести шагов...
 за тридцать...
 за двадцать...
 Вбегает юнкер —
 «драться глупо».
 Тринадцать визгов:
 — Сдаваться!
 Сдаваться! —
 А в двери —
 бушлаты,
 шинели,
 тулупы...
 И в эту тишину —
 раскатившийся властью
 бас,
 окрепший,
 над реями рея:
 — Которые тут временные?
 Слазь!
 Кончилось ваше время. —



А в Смольном
толпа,
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо
«...и это будет...»
пели:
«...и это есть
наш последний...»
До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
«Кончено...
В Смольный».
Умолк пулемет.
Угодия толков.
Умолкнул
пуль
звенящий улей.
Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.
Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы
уже —
при социализме.

И лишь
 хорохорятся
 костры
в сумерках
 густых.
И здесь,
 где земля
 от жары вязка,
с испугу
 или со льда
ладони
 держа
 у огня в языках,
греется
 солдат.
Солдату
 упал
 огонь на глаза,
на клок
 волос
 лег.
Я узнал,
 удивился,
 сказал:
— Здравствуйте,
 Александр Блок
Лафа футуристам:
 фрак старья
разлазится
 каждым швом. —
Блок посмотрел —
 костры горят:
— Очень хорошо. —
Кругом
 тонула
 Россия Блока...
«Незнакомки»,
 «дымки севера»
шли
 на дно,
 как идут
 обломки
и жестянки
 консервов.

И сразу
лицо
скупее менял,
мрачнее,
чем смерть на свадьбе:
— Пишут...
из деревни...
сожгли...
у меня...

библиотеку в усадьбе. —
Уставился Блок,
и Блокова тень
глазеет,
на стенке привстав...
Как будто
оба
ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
Христос
являться не стал.

У Блока
тоска у глаз.
Живые,
с песней
вместо Христа,
люди
из-за угла.
Вставайте!
Вставайте!
Вставайте!

Работники
и батраки.
Зажмите,
косарь и кователь,
винтовку
в железо руки!
Вверх —
флаг!
Рвань —
встань!
Враг —
ляг!
День —
дрянь.

За хлебом!
 За миром!
 За волеи!

Бери
 у буржуев
 завод!
Бери
 у помещика поле!
Братайся,
 дерущийся взвод!
Сгинь,
 стар.
В пух,
 в прах.
Бей
 бар!
Трах!
 тах!
Довольно,
 довольно,
 довольно

покорность
 нести
 на горбах.

Дрожи,
 капиталова дворян!
Тряситесь,
 короны
 на лбах!

Жир
 ёжь,
страх
 плах!
Трах!
 тах!
Тах!
 тах!

Эта песня,
 перепетая по-своему,
доходила
 до глухих крестьян —
и вставали села,
 содрогая воем,
по дороге
 топоры крестя.

Но-
жи-
чком
на
месте чин

лю-
то-
го
по-
менщика.

Гос-
по-
дин
по-
менщикек,

со-
би-
райте
вещи-ка!

До-
шло
до поры,

вы-
хо-
ди
босы,

вос-
три
топоры,
подымай косы.

Чем
хуже
моя Нина?!

Ба-
рыни сами.

Тащъ
в хату
пианино,
граммофон с часами!

Под-
хо-
ди-
те, орлы!

Будя —
пограбили.

Встречай в колы,
провожай
в грабли!

Дело
Стеньки
с Пугачевым
разгорайся жарче-ка!

Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.

Под-
пусть
петуха!

Подымай вилы!

Эх,
не
погухай,

пет-
тух милый.

Чорт
ему
теперь
родня!

Гбловы —
кочаном.

Пулеметов трескотня
сышется с тачанок.

«Эх, яблочко
цвета ясного.

Бей
справа
белаво,
слева краснова».

Этот вихрь,
от мысли до курка,

и постройку,
и пожара дым

прибирала
партия
к рукам,

направляла,
строила в ряды.

Холод большой.
Зима здоровá.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты.
Грузят дрова
на трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем
все права.
В наши вагоны,
на нашем пути,
наши
грузим
дрова.
Можно
уйти
часа в два,
но мы —
уйдем поздно.
Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.
Работа трудна,
работа
томит.
За нее
никаких копеек.
Но мы
работаем,
будто мы
делаем
величайшую эпопею.
Мы будем работать,
всё стерпя,
чтоб жизнь,
колёса дней торопя,
бежала
в железном марше
в наших вагонах,
по нашим степям,

в города
промерзшие
наши.
— Дяденька,
что вы делаете тут —
столько
больших дядей?
— Что?
Социализм:
свободно
свободный труд
собранных людей.

9

Перед нашею
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
нет числа:
что это
за нация такая
«социалистичья»
и что это за
«соци-
алистическое отечество»?
«Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали,
кроме хлеба и воды,
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества
такой дым



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

разве уж
на столько приятен?
За что вы
идете,
если велят —

«вой»?

Можно
быть
разорванным бомбицей,
можно
умереть
за землю за свою,
но как
умирать
за общую?

Приятно
русскому
с русским обняться, —
но у вас
и имя
«Россия»
утрачено.

Что это за
отечество
у забывших об нации?
Какая нация у вас?
Коминтернина?

Жена,
да квартира,
да счет текущий —
вот это
отечество,
райские кущи.

Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали
и смерть
и молодечество».

Слушайте,
национальный трутень:
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет

наших бед,
 побед,
 буден.

10

Политика —
 проста,
 как воды глоток.
Понимают
 ощерившие
 сытую пасть,
что если
 в Россиях
 увязнет коготок,
всей
 буржуазной птичке —
 пропасть.
Из Сюртэ Женераль,
 из Интеллидженс Сервис,
дефензивы
 и сигуранцы
выходит
 разная
 сволочь и стерва,
шьет
 шинели
 цвета серого,
бомбы
 кладет
 в ранцы.
Набились в трюмы,
 палубы обсели
на деньги
 вербовочного агентства.
В Новороссийск
 плывут из Марсея,
из Дувра
 плывут к Архангельску.
С песней,
 с виски,
сыты по-свински.
Киями
 вскопаны
воды холодные.

Смотрят
перископами
лодки подводные.
Плывут крейсера,
снаряды соря.
И
миноносцы
с минами носятся.
А
поверх
всех
с пушками
чудовищной длинноты
сверх-
дредноуты.
Разными
газами
воня гадко,
тучи
пропеллерами выдрав,
с авиаматки
на авиаматку
пе-
ре-
пархивают «гидро».
Послал
капитал
капитанов ученых.
Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское, —
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям.
Стоит
морей владычица —
бульдोजья
Британия.

Со всех концов
 блокады кольцо
 и пушки
 смотрят в лицо.
 «Красным не нравится?!
 Им
 голоднó?!
 Рыбкой
 наедитесь,
 пойдя
 на дно».

А кому
 на суше
 грабить охота,
 те
 с кораблей
 сходили пехотой.
 На море потопим,
 на суше
 потопаем.
 Чужими
 руками
 жар гребя,
 дым
 отечества
 пускают
 пушечные —
 выставляют
 впереди
 одурченных ребят,
 баронов
 и князей недорасстрелянных.

Могилы копайте,
 гроба копите —
 Юденича
 рати
 прут
 на Питер.
 В обозах
 ёды вкусят,ся,
 консервы —
 пуд.
 Танков
 гусеницы

на Питер прут.
 От севера идет адмирал Колчак,
 сибирский хлеб сапогом толча.
 Рабочим на расстрел, поповнам на утехе,
 с ним идут голубые чехи.
 Траншеи, машинами выбранные,
 саперами Крым перекопан —
 Врангель крупнокалиберными
 орудует с Перекопа.
 Любят полковников сентиментальные леди.
 Полковники любят поговорить на обеде.
 «Я иду, мол (прихлебывает виски).
 а на меня десяток чудовищ
 большевицких.
 Раз одного, другого рраз, —
 кстати, как денди, и девушку спас».

Леди, спросите у мерина сивого —

он
как Мурманск
развизнасилвал.

Спросите,
как
Двина-река,
кровью
крашенная,
труны
вѣтая,
с кладью
страшную
шла
в Ледовитый.

Как храбрецы
расстреливали кучей
коммуниста
одного,
да и тот скручен.

Как офицерá
его
величества
бежали
от выстрелов,
берег вычистя.

Как над серыми
хатами
огненные перья
и руки
холеные
туго
у горл.

Но...
«ите э лонг уэй
ту Типперери,
ите э лонг уэй
ту го!»

На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами.
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили

богатые мира
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогнившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
«фратернитэ» и «эгалитэ»!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
«Янки
дудль
кип ит об.
Янки дудль денди».
Посреди
винтовок
и орудий голосяща
Москва
островком,
и мы на островке.
Мы —
голодные,
мы —
нищие,
с Лениным в башке
и с наганом в руке.

11

Несется
жизнь,
овеевая,
проста,
суха.
Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Веэсэпха.
Свезли,
винтовкой звякая,
богатых
и кассы.

чтоб было
видней,
я
в комнатёнке-лодочке
прошлыл
три тыщи дней.

12

Ходят
спекулянты
вокруг Главтопа.
Обнимут,
зацелуют,
убьют за руп.
Секретарши
ответственные
валенками топают.
За хлебными
карточками
стоят лесорубы.
Много
дела,
мало
горя им,
фунт
— целый! —
первой категории.
Рубят,
липовый
чай
выкушав,
мы
не Филипповы,
мы —
привыкши.
Будет
обед,
будет
ужин, —
белых бы
вон
отбить от ворот.
Есть захотелось —
пояс
потуже,

в руки винтовку
и —
на фронт.



А
 мимо —
незаменимый.
Стуча
 сапогом,
идет за пайком —
правление
 выдало
урюк
 и повидло.
Богатые —
 ловче,
едят
 у Зунделовича.
Ни щей,
 ни каш —
бифштекс
 с бульоном,
хлеб
 ваш,
полтора миллиона.
Ученому
 хуже:
фосфор
 нужен,
масло
 на блюще.
Но,
 как на́зло,
есть революция,
а нету —
 масла.
Они
 научные.
Напишут,
 вылечат.
Мандат, собственноручный,
Анатоль Васильевича.
Где
 хлеб
 да мя́са,

придут
на час к вам.
Читает
комиссар
мандат Луначарского.
«Так...
сахар...
так...

жирок вам.
Дров...
березовых...
посуше поленья...
и шубу
широкого
потребленья.
Я вас,
товарищ,

спрашиваю в упор.
Хотите —
берите
головной убор.

Приходит
каждый
с разной блажью.
Берите

пока што
ногу
лошажью!»

Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении.

Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.

Шапчонку
 взял
 оборванную
 и вытащил салазки.
 — Куда идешь?
 — В уборную
 иду.
 На Ярославский. —
 Как парус,
 шуба
 на весу,
 воняет
 козлом она.
 В саних
 полено везу,
 забрал
 забор разломанный.
 Полено —
 тушею,
 тверже камня.
 Как будто
 вспухшее
 колено
 великанье.
 Вхожу
 с бревном в обнимку.
 Запотел,
 вымок.
 Важно
 и чинно
 строгаю перочинным.
 Нож —
 ржа.
 Режу.
 Радуюсь.
 В голове
 жар
 подымает градус.
 Зацветают луга,
 май
 поет
 в уши —
 это
 тянется угар
 из-под черных вьюшек.

Четверо сосулек
свернулись,
уснули.

Приходят
люди,

ходят,
будят.

Добудились еле —
с углей

угорели.
В окно —

сугроб. Глядит горбат.

Не вымерзли покамест?
Морозы

в ночь
идут, скрипят

снегами сапогами.

Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,

морем
заката

облит.
По розовой

глади
моря
на юг —

тучи-корабли.

За гладь
за розовую

бросать якоря,
туда,

где березовые
дрова

горят.
Я

много
в теплых странах плутал.

Но только
в этой зиме

понятной
стала

мне
теплота

любовей,
дружб и семей.
Лишь лежа в такую вот гололедь,
зубами вместе проляскав,
поймешь: нельзя
ни одеяло, ни ласку,
на людей жалеть
Землю, где воздух —
как сладкий морс,
бросишь и мчишь колеся,
но землю, с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

14

Скрыла та зима,
худая и строга,
всех, кто навеки
ушел ко сну.
Где уж тут словам!
И в этих строках
боли волжской
я не коснусь.
Я дни беру
из ряда дней,
что с тыщей
дней в родне.
Из серой
полосы
деньки —

их гнали
годы
водники,
не очень
сытенькие,
не очень
голоденькие.
Если
я
чего написал,
если
чего
сказал,
тому виной
глаза-небеса,
любимой
моей
глаза.
Круглые
да карие,
горячие
до гари.
Телефон
взбесился шалый,
в ухо
грохнул обухом:
карие
глазища
сжала
голода
опухоль.
Врач наболтал —
чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.



Я
 много дарил
 конфет да букетов,
 но больше
 всех
 дорогих даров
 я помню
 морковь драгоценную эту
 и пол-
 полена
 березовых дров.
 Мокрые,
 тощие
 подмышкой
 дровинки
 чуть
 потолще
 средней бровинки.
 Вспухли щеки.
 Глазки —
 щелки.
 Зелень
 и ласки
 вѣхали глазки.
 Больше
 блюдца,
 смотрят
 революцию.
 Мне
 легше, чем всем:
 я —
 Маяковский.
 Сижу
 и ем
 кусок
 конский.
 Скрип —
 дверь,
 плача.
 Сестра
 младшая:
 — Здравствуй, Володя!
 — Здравствуй, Оля!
 — Завтра новогодие —
 нет ли
 соли? —

Делю,
 в ладонях вешаю
 шепотку
 отсыревшую.
 Одолевая
 снег
 и страх,
 скользит сестра,
 идет сестра,
 бредет
 трехверстной Преснею
 солить
 картонку пресную.
 Рядом
 мороз
 шел
 и рос.
 Затевал
 щекотку —
 отдай
 щепотку.
 Пришла,
 а соль
 не валится —
 примерзла
 к пальцам.
 За стенкой
 шарк:
 — Иди,
 жена,
 продай
 пиджак,
 купи
 пшена. —
 Окно —
 с него
 идут
 снега,
 мягка
 снегов
 тиха
 нога.
 Бела,
 гола
 столиц
 скала.

Прилип к скале
лесов скелет.
И вот из-за леса
вползает небу в шаль
солнца вша.
Декабрьский рассвет,
изможденный и поздний,
встает над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли тучи
к странам тучным.
За тучей берегом
лежит Америка.
Лежала, лакала
кофе, какао.
В лицо вам.
толще свиных причуд,
круглей ресторанных блюд,
из нищей нашей
земли кричу:
— Я землю эту
люблю. —
Можно забыть,
где и когда

пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести, —
несут
минуты-вестницы
по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
«Дожили,
вот вам, —
нету
топлив
брюхам
заводовым».
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зѣва,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.

Вышли зá лес,
вместе взялись.
Я ли, вы ли,
откопали, вырыли.
И снова поезд
 катит
за снежную скатерть.
Слабеет тело
без ед и питья,
носилки сделали,
руки сплеля.
Теперь запевай
 и домой можно —
да на руки положено
пять обмороженных.
Сегодня на лестнице,
 грязной и тусклой,
копались обывательские
 слухи-свиньи.
— Деникин подходит
 к самой
 к тульской,
к пороховой сердцевине. —
Обулись обыватели,
 по пыли печатают
шопотоголосые кухарочки хоры.
— Будет... крушичатая!..
 пуды непечатые...

Салоп
 говорит
 чуйке,
чуйка —
 салоцу:
— Заерзали
 длинноносые шуки!
Скоро
 всех
 слопают! —
А потом
 топырили
 глаза-тарелины
в длинную
 фамилий
 и званий тропу.
Ветер
 сдирает
 списки расстрелянных,
рвет,
 закручивает
 и пускает в трубу.
Лапа
 класса
 лежит на хищнике, —
Лубянская
 лапа
 Че-ка.
— Замрите, враги!
 Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
 Смирно!
 У очага! —
Миллионный класс
 вставал за Ильича,
против
 белого
 чудовища клыкастого,
и вливалось
 в Ленина,
 леча,
этой воли
 лучшее лекарство.

Хоронились
 обыватели
 за кухни,
 за пеленки.

Нас не трогайте —
 мы
 цыпленки.

Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
 время,
 вашу пасть!

Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
 уже
 за вашу власть.

А утром
 небо —
 веча звонница!

Вчерашний
 день
 вина во лжи,
расколоколивали
 птицы и солнце:

жив,
 жив,
 жив,
 жив!

И снова
 дни
 чередой заводной

сбегались
 и просили:

идем
 за нами —
 «еще
 одно

усилье».
От боя к труду —
 от труда
 до атак, —

в голоде,
 в холоде
 и нагоде

держали
взятое, да так,
что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
росли где ивжыр с айвой
без труда
у рта моего, —
к таким
относись, иначе.
Но землю,
которую
и полуживую завоевал
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массаами, —
с такою
землею
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!

16

Мне
рассказывал
тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
«Только что
вышел я
из дверей,
вижу —
они плывут...»
Бегу
по Севастополю
к дымящим пароходам.
За день
подметок стопали,
как за год похода.

из штаба
опустевшего
вышел он.

Глядя
на ноги,
шагом
резким
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили.
На молу —
гло.

Лодка
шестивёсельная
стоит
у мола.
И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба

колена
упал главнокомандующий.
Трижды
землю
поцеловавши,
трижды
город
перекрестил.

Под пули
в лодку прыгнул... — Ваше
превосходительство,
грести? — Грести! —

Убрали весло.
Мотор
заторкал.
Пошла
веселó
к «Алмазу»
моторка.

Пулей
пролетела
штандартная яхта.

пули
шальной
надо.

Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.

Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:

«Ол-
райт».
И ушли
в хвосте отступающих свор —
орудия на город,
курсе на Босфор.

В духовках солища
горы
жаркие.

Воздух
цветы рассиропили.

Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сынятся
с Симферополя.

Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,
с красными
вместе
спускается с гор
песня
боевая.

Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,
вставала
бесстрашная
в дожде-свинце:

«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер».
Слушают
пушки,
морские ведьмы,
у-
ле-
петывая
во винты во все,
как сыпется
с гор
— «готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эр!» —
Начштаба
морщит лоб.
Пальцы
корявой руки
буквы
непослушные гнут:
«Врангель
оп-
раки-
нут
в море.
Пленных нет».
Покамест —
точка. Конец
и телеграмме
и войне.
Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки до збри.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

Хвалить
 не заставят
 ни долг,
 ни стих
 всего,
 что делаем мы.
 Я
 пол-отечества мог бы
 снести,
 а пол —
 отстроить, умыв.
 Я с теми,
 кто вышел
 строить
 и месть
 в сплошной
 лихорадке
 буден.
 Отечество
 славлю,
 которое есть,
 но трижды —
 которое будет.
 Я
 планов наших
 люблю громадьё,
 размаха
 шаги саженьи.
 Я радуюсь
 маршу,
 которым идем
 в работу
 и в сраженья.
 Я вижу —
 где сор сегодня гниет,
 где только земля простая —
 на сажень вижу, —
 из-под нее
 коммуны
 дома
 прорастают.
 И меркнет
 доверье
 к природным дарам,



с унылым пудом сенца,
и поворачиваются к тракторам
крестьян заскорузлые сердца.
И планы, что раньше
задерживал на станциях лбов
нищенства тормаз,
сегодня встают
из дня голубого,
железом и камнем формясь.
И я, как весну человечества,
рожденную в трудах и в бою,
пою мое отечество,
республику мою!

18

На девять сюда
октябрей и маёв,
под красными флагами
праздничных шествий,
носил с миллионами
сердце мое,
уверен и весел,
горд и торжествен.
Сюда, под траур
и плеск чернофлажий,
пока убитого
кровь горяча,



34936320
30320170333

бежал,
от тревоги
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.

Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих
и в мертвом
холоде
слез и льдин,

а чаще еще —
просто
один.
Солдаты башен
стражей стоят,

подняв
свои
островерхние шлемы,
и, злобу
в башках куполов
тая,

притворяются
церкви,
монашьи шельмы.

Ночь —
и на головы нам
луна.
Она
идет
оттуда откуда-то...

оттуда,
где
Совнарком и ЦИК.

Кремля
кусок
от ночи откутав,
переползает
через зубцы.

Вползает
на гладкий
валун,

он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают —
и меня
останавливают имена.
Вот с этим
виделся
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась, —
и кровью
газета
намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились, —
в шинели измятой,
с острой бородкой,
прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
жизнь,
решающему,
сделать бы жизнь с кого,
* скажу
не задумываясь:
«Делай ее
с товарища
Дзержинского».
Кто костями,
кто пеплом,
стенам под стопу

улеглись... А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте
товарищей
мучит
тревоги отрава.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве:
«Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли?
Скажите.
Достроит
коммуна
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель?»
Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна
с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.

И снова шорох
в пепельной вазе,
лепечут венки
языками лент:
«А в ихних черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи?»
Нет!
В мире насилья и денег,
тюрем и петель витья
ваши великие тени
ходят, будя
и веда.
«А вас не тянет
всевластная тина?
Чиновность
в мозгах паутину
не свила?
Скажите —
цела? Скажите —
едина?
Готова ли
к бою партийная сила?»
Спите,
товарищи, тише...
Кто ваш покой отберет?
Встанем,
штыки ощетинивши,
с первым приказом:
«Вперед!»



ЭЛНЭНЭНЭНЭН
ЭНЭНЭНЭНЭНЭН

Грудью
у витринных
книжных груд.

Моя
фамилия
в поэтической рубрике.

Радуюсь я —
это
мой труд

вливается
в труд
моей республики

Пыль
взбили
шиной губатой —

в моем
автомобиле

мои
депутаты.
В красное здание —
на заседание.

Сидите,
не советите

в моем
Моссовете.

Розовые лица.
Револьвер
желт.

Моя
милиция
меня
бережет.

Жезлом
правит,
чтоб вправо
шел.

Пойду
направо.

Очень хорошо.
Надо мною
небо.

Синий
шелк.

Никогда
не было
так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал,
словно дерево, я.
Всыпят,
как пойдут в бой,
по число
по первое.
В газету
глаза:
молодцы венцы.
Буржуям
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут.
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.
Прокуроры
дрожат.
Как хорошо!
Пестрит
передовица
угроз паршой.
Чтоб им подавиться.
Грозят?
Хорошо.
Полки
идут
у меня на виду.
Барабану
в бока
бьют
войска.

Нога
 крепка,
голова
 высока.
Пушки
 ввозятся, —
идут
 краснозвездцы.
Приспособил
 к маршу
такт ноги:
вра-
 ги
 ва-
 ши —
мо-
 и
 вра-
 ги.
Лезут?
 Хорошо.
Сотрем
 в порошок.
Дымовой
 дых
 тяг.
Воздуха́ береги.
Пых-дых,
 пых-
 тят
мой фабрики.
Пыши,
 машина,
 шибче-ка ---
вовек чтоб
 не смолкла, —
побольше
 ситчика
моим
 комсомолкам.
Ветер
 подул
в соседнем саду.

В ду-
хах про-
шел.
Как хо-
рошо.
За городом —
поле.
В полях —
деревеньки.
В деревнях —
крестьяне.
Бороды —
веники.
Сидят
папаши.
Каждый
хитр.
Землю попашет,
попишет
стихи.
Что ни хутор,
от ранних утр
работа любá.
Сеют,
пекут
мне
хлеба.
Дбят,
пашут,
ловят рыбицу;
республика наша
строится,
дыбится.
Другим
странам
пó сто.
История
настью гроба.
А моя
страна
подросток —
твори,
выдумывай,
пробуй!



Радость прет. Не для вас
 уделить ли нам?

Жизнь прекрасна
 и удивительна.

Лет до ста
 расти
 нам без старости.
 Год от года
 расти
 нашей бодрости.
 Славьте,
 молот
 и стих,
 землю молодости.

34736320
 808 2070333

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

Первое выступление в поэму

Уважаемые
товарищи потомки!
Роясь
в сегодняшнем
окаменевшем дерьме,
наших дней изучая потемки,
вы,
возможно,
спросите и обо мне.
И, возможно, скажет
ваш ученый,
кроя эрудицией
вопросов рой,
что жил-де такой
певец кипяченой
и ярый враг воды сырой.
Профессор,
снимите очки-велосипед!
Я сам расскажу
о времени
и о себе.
Я, ассенизатор
и водовоз,
революцией
мобилизованный и призванный,



ՀԱՅԿԵՅՆ ԼԻԿ
ՄՈՑԻՈՐԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ



Маяковский на фоне щитов своей выставки «20 лет работы» (1930).

ушел на фронт
из барских садоводств
поэзии —

бабы капризной.
Засадил садик мило,
дочка,

дача,
вот

и гладь.

«Сама садик я садила,
сама буду поливать».
Кто стихами льёт из лейки,
кто кропит,

набравши в рот, —
кудреватые Митрейки.

мудреватые Кудрейки —

кто их, к чорту, разберет!
Нет на прорву карантина —
мандолинат из-под стен:

«Тара-тина, тара-тина,
т-эн-и...»

Неважная честь,
чтоб из этаких роз
мои изваяния высились
по скверам,

где харкает туберкулез,
где бл.м.с хулиганом
да сифилис.

И мне
агитпроп
в зубах навяз,

и мне бы
строчить
романсы на вас —
доходней оно

и прелестней.

Но я
себя смирял,
становясь

на горло
собственной песне.

Слушайте,
товарищи потомки,
агитатора,
горлана-главаря.

Заглуша поэзии потоки,
я шагну через лирические томики,
как живой с живыми говоря.
Я к вам приду в коммунистическое далекó
не так, как песенно-есененный провитязь.
Мой стих дойдет через хребты веков
и через головы поэтов и правительств.
Мой стих дойдет, но он дойдет не так, —
не как стрела в амурно-лировой охоте,
не как доходит к нумизмату стершийся пятак
и не как свет умерших звезд доходит.
Мой стих трудом громаду лет прорвет
и явится весомо, грубо, зримо,
как в наши дни вошел водопровод,
сработанный еще рабами Рима.
В курганах книг, похоронивших стих,
железки строк случайно обнаруживая,
вы с уважением оцупывайте их,
как старое, но грозное оружие.
Я ухо словом не привык ласкать;
ушку девическому в завиточках-волосках



с полупохабины
 Парадом развернув ^{не разалеться, тронуту}
 я прохожу ^{моих страниц войска,}
 Стихи стоят ^{по строчечному фронту.}
 готовые и к смерти ^{свинцово-тяжело,}
 и к бессмертной славе.

Поэмы замерли,
нацеленных ^{к жерлу прижав жерло}
зияющих заглавий.

Оружия ^{любимейшего род,}
 готовая ^{рвануться в гике,}
 застыла ^{кавалерия острот,}
 поднявши рифм ^{отточенные пики.}

И все ^{поверх зубов вооруженные войска,}
 что двадцать лет в победах ^{пролетали,}
 до самого ^{последнего листка}
 я отдаю тебе, ^{планеты пролетарий.}

Рабочего ^{громады класса враг —}
 он враг и мой ^{отъявленный и давний.}

Велели нам ^{итти}
 года труда ^{под красный флаг}
 и дни недоеданий.

Мы открывали ^{Маркса}
 как в доме ^{каждый том,}
 собственном ^{мы открываем ставни.}



но и без чтения
 в каком итти, мы разбирались в том,
 в каком сражаться стане.

Мы
 диалектику учили не по Гегелю.
 Бряцанием боев она врвалась в стих,
 когда под пулями
 от нас буржуи бегали,
 как мы когда-то
 бегали от них.

Пускай
 за гениями безутешною вдовой
 влетится слава в похоронном марше —
 умри, мой стих, умри, как рядовой,
 как безымянные на штурмах мерли наши!

Мне наплевать на бронзы многопудье,
 мне наплевать на мраморную слизь.

Сочтемся славою —
 пускай нам ведь мы свои же люди, —
 общим памятником будет
 построенный в боях социализм.

Потомки,
 словарей проверьте поплавки:
 из Леты выплывут
 как «проституция», остатки слов таких,
 «туберкулез»,
 «блокада».

Для вас,
 которые
 здоровы и ловки,
поэт
 вылизывал
 чахоткины плевки
шершавым языком плаката.
С хвостом годов
 я становлюсь подобием
чудовищ
 ископаемо-хвостатых.
Товарищ жизнь,
 давай
 быстрее протопаем,
протопаем
 по пятилетке
 дней остаток.
Мне
 и рубля
 не накопили строчки,
краснодеревщики
 не слали мебель на дом.
И кроме
 свежевымытой сорочки,
скажу по совести,
 мне ничего не надо.
Явившись
 в Це Ка Ка
 идущих
 светлых лет,
над бандой
 поэтических
 рвачей и выжиг
я подыму,
 как большевистский партбилет,
все сто томов
 моих
 партийных книжек.

КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ

I

Я должен писать на эту тему.

На различных литературных диспутах, в разговоре с молодыми работниками различных производственных словесных ассоциаций (рап, тап, пап и др.), в расправе с критиками мне часто приходилось если не разбивать, то хотя бы дискредитировать старую поэтику. Самую ни в чем неповинную старую поэзию, конечно, трогали мало. Ей попададо, только если ретивые защитники старья прятались от нового искусства за памятниковые зады.

Наоборот, снимая, громя и ворочая памятниками, мы показывали читателям Великих с совершенно неизвестной, неизученной стороны.

Детей (молодые литературные школы также) всегда интересует, что внутри картонной лошади. После работы формалистов ясны внутренности бумажных коней и слонов. Если лошади при этом немного попортились, — простите. С поэзией прошлого ругаться не приходится — это нам учебный материал.

Наша постоянная и главная ненависть обрушивается на романсово-критическую обывательщину. На тех, кто все величие старой поэзии видит в том, что и они любили, как Онегин Татьяну (созвучие душе), в том им и поэты понятны (выучились в гимназии), что ямбы ласкают ихнее ухо. Нам ненавистна эта петрудная свистопляска, потому что она создает вокруг трудного и важного поэтического дела атмосферу полового содрогания и замирания, веры в то, что только вечную поэзию не берет никакая диалектика и что единственным производственным процессом является вдохновенное задираание головы в ожидании, пока небесная



поэзия-дух сойдет на лысину в виде голубя, павлина, страуса.

Разоблачить этих господ нетрудно.

Достаточно сравнить татьянинскую любовь и «науку, которую воспел Назон», с проектом закона о браке, прочесть про пушкинский «разочарованный лорнет» донецким шахтерам или бежать перед первомайскими колоннами и голосить: «Мой дядя самых честных правил».

Едва ли после такого опыта у кого-нибудь молодого, горящего отдать свою силу революции, появится серьезное желание заниматься древнеэпоическим ремеслом.

Об этом много писалось и говорилось. Шумное одобрение аудитории всегда бывало на нашей стороне. Но вслед за одобрением поднимаются скептические голоса:

— Вы только разрушаете и ничего не создаете. Старые учебники плохи, а где новые? Дайте нам правила вашей поэтики! Дайте учебники!

Ссылка на то, что старая поэтика существует полторы тысячи лет, а наша лет тридцать, — мало помогающая отговорка.

Вы хотите писать и хотите знать, как это делается. Почему вещь, написанную по всем шенгелевским правилам, с полными рифмами, ямбами и хореем, отказываются принимать за поэзию? Вы вправе требовать от поэтов, чтобы они не уносили с собой в гроб секреты своего ремесла.

Я хочу написать о своем деле не как начетчик, а как практик. Никакого научного значения моя статья не имеет. Я пишу о своей работе, которая, по моим наблюдениям и по убеждению, в основном мало чем отличается от работы других профессионалов-поэтов.

Еще раз очень решительно оговариваюсь: я не даю никаких правил для того, чтобы человек стал поэтом, чтобы он писал стихи. Таких правил вообще нет. Поэтом называется человек, который именно и создает эти самые поэтические правила. В сотый раз привожу мой надоевший пример-аналогию.

Математик — это человек, который создает, дополняет, развивает математические правила, человек, который вносит новое в математическое знание. Человек, впервые сформулировавший, что «два и два — четыре», — великий математик, если даже он получил эту истину из складывания двух окурков с двумя окурками. Все дальнейшие люди, хотя бы они складывали неизмеримо ббльшие вещи, например паровоз с паровозом, все эти люди — не математики. Это утверждение отнюдь не умаляет труда человека, скла-



дывающего паровозы. Его работа в дни транспортной разрухи может быть в сотни раз ценнее голой арифметической истины. Но не надо отчетность по ремонту паровозов представлять в математическое общество и требовать, чтоб она рассматривалась наряду с геометрией Лобачевского. Это взбесит плановую комиссию, озадачит математиков, поставит в тупик тарификаторов.

Мне скажут, что я ломлюсь в открытые двери, что это ясно и так. Ничего подобного.

80% рифмованного вздора печатается нашими редакциями только потому, что редактора или не имеют никакого представления о предыдущей поэзии, или не знают, для чего поэзия нужна.

Редактора знают только «мне нравится» или «не нравится», забывая, что и вкус можно и надо развивать. Почти все редактора жаловались мне, что они не умеют возвращать стихотворные рукописи, не знают, что сказать при этом.

Грамотный редактор должен был бы сказать поэту: «Ваши стихи очень правильны, они составлены по третьему изданию руководства к стихосложению М. Бродовского (Шенгели, Греча и т. д.), все ваши рифмы — испытанные рифмы, давно имеющиеся в полном словаре русских рифм Н. Абрамова. Так как хороших новых стихов у меня сейчас нет, я охотно возьму ваши, оплатив их, как труд квалифицированного переписчика, по 30 р. за лист, при условии представления трех копий».

Поэту нечем будет крыть. Поэт или бросит писать, или подойдет к стихам как к делу, требующему большого труда. Во всяком случае, поэт бросит заноситься перед работающим хроникером, у которого хотя бы новые происшествия имеются на его три рубля за заметку. Ведь хроникер штаны рвет по скандалам и пожарам, а такой поэт только слюни расходует на перелистывание страниц.

Во имя поднятия поэтической квалификации, во имя расцвета поэзии в будущем надо бросить выделение этого самого легкого дела из остальных видов человеческого труда.

Оговариваюсь: создание правил — это не есть сама по себе цель поэзии, иначе поэт вырождается в схоласта, упражняющегося в составлении правил для несуществующих или ненужных вещей и положений. Например, не к чему было бы придумывать правила для считания звезд на полном велосипедном ходу.

Положения, требующие формулирования, требующие



правил, выдвигает жизнь. Способы формулировки правил определяются классом, требованиями нашей эпохи.

Например, революция выбросила на улицу корявый говор миллионов, жаргон окраин полился через центральные проспекты; расслабленный интеллигентский язычишко с его выхолощенными словами: «идеал», «принципы справедливости», «божественное начало», «трансцендентальный лик Христа и антихриста», — все эти речи, шепотком произносимые в ресторанах, смяты. Это — новая стихия языка.

Как его сделать поэтическим? Старые правила с «грязями, розами» и александрийским стихом не годятся. Как ввести разговорный язык в поэзию и как вывести поэзию из этих разговоров?

Плюнуть на революцию во имя ямбов?

Мы стали злыми и покорными,
Нам не уйти.
Уже развел руками черными
Викжель пути.

(З. Гиппиус.)

Нет! Безнадёжно складывать в четырехстопный амфибрахий, придуманный для шепотка, распирающий грохот революции.

Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.

(Кириллов.)

Нет!

Сразу дать все права гражданства новому языку: выкрику вместо напева, грохоту барабана вместо колыбельной песни.

Революционным держите шаг!

(Блок.)

Разворачивайтесь в марше!

(Маяковский.)

Мало того, чтоб давались образцы нового стиха, правила действия словом на толпы революции, — надо, чтоб расчет этого действия строился на максимальную помощь своему классу.

Мало сказать, что «неугомонный не дремлет враг» (Блок). Надо точно указать или хотя бы дать безошибочно представить фигуру этого врага.

Мало, чтоб разворачивались в марше. Надо, чтоб разво-



рачивались по всем правилам уличного боя, отбирая телеграф, банки, арсеналы в руки восстающих рабочих.

Отсюда:

Ешь ананасы
 рыбчиков жуй.
 день твой последний приходит, буржуй...
 (Малковский.)

Едва ли такой стих узаконила бы классическая поэзия. Греч в 1820 году не знал частушек, но если бы он их знал, он написал бы о них, наверное, так же, как о народном стихосложении, — презрительно: «Сии стихи не знают ни стоп, ни созвучий...»

Но эти строки усыновила петербургская улица. На догуге критики могут поразбираться, на основании каких правил все это сделано.

Новизна в поэтическом произведении обязательна. Материал слов, словесных сочетаний, попадающийся поэту, должен быть переработан. Если для делания стиха пошел старый словесный лом, он должен быть в строгом соответствии с количеством нового материала. От количества и качества этого нового будет зависеть, годен ли будет такой слав в употребление.

Новизна, конечно, не предполагает постоянного изречения небывалых истин. Ямб, свободный стих, аллитерация, ассонанс создаются не каждый день. Можно работать и над их продолжением, внедрением, распространением.

«Дважды два — четыре» само по себе не живет и жить не может. Надо уметь применять эту истину (правила приложения). Надо сделать эту истину запоминаемой (опять правила), надо показать ее непоколебимость на ряде фактов (пример, содержание, тема).

Отсюда ясно, что описанию, отображению действительности в поэзии нет самостоятельного места. Работа такая нужна, но она должна быть расцениваема как работа секретаря большого человеческого собрания. Это простое «слушали», «постановили». В этом трагедия попутничества: и услышали пять лет спустя и постановили поздневат, когда уже остальные выполнили.

Поэзия начинается там, где есть тенденция.

По-моему, стихи «Выхожу один я на дорогу...» — это агитация за то, чтобы девушка гуляла с поэтами. Одному, видите ли, скучно. Эх, дать бы такой силы стих, зовущий объединяться в кооперативы!

Старые руководства к писанию стихов таковыми безу-

словно не являлись. Это только описание исторических, ве-
шедших в обычай способов писания. Правильно эти книги
называть не «как писать», а «как писали».

Говорю честно. Я не знаю ни ямбов, ни хореев, никогда не различал их и различать не буду. Не потому, что это трудное дело, а потому, что мне в моей поэтической работе никогда с этими штуками не приходилось иметь дело. А если отрывки таковых метров и встречались, то это просто записанное по слуху, так как эти надоевшие мотивы чересчур часто встречаются — вроде «Вниз по матушке по Волге».

Я много раз брался за это изучение, понимал эту механику, а потом забывал опять. Эти вещи, занимающие в поэтических учебниках 90%, в практической работе моей не встречаются и в трех.

В поэтической работе есть только несколько общих правил для начала поэтической работы. И то эти правила — чистая условность. Как в шахматах. Первые ходы почти однообразны. Но уже со следующего хода вы начинаете придумывать новую атаку. Самый гениальный ход не может быть повторен при данной ситуации в следующей партии. Сбивает противника только неожиданность хода.

Совсем как неожиданные рифмы в стихе.

Какие же данные необходимы для начала поэтической работы?


Первое. Наличие задачи в обществе, разрешение которой мыслимо только поэтическим произведением. Социальный заказ. (Интересная тема для специальной работы о несоответствиях социального заказа с заказом фактическим.)

Второе. Точное знание, или, вернее, ощущение желаний вашего класса (или группы, которую вы представляете) в этом вопросе, то есть целевая установка.

Третье. Материал. Слова. Постоянное пополнение хранилищ, сараев вашего черепа нужными, выразительными, редкими, изобретенными, обновленными, произведенными и всякими другими словами.

Четвертое. Оборудование предприятия и орудия производства. Перо, карандаш, пишущая машинка, телефон, костюм для посещения ночлежки, велосипед для езды в редакцию, организованный стол, зонтик для писания под дождем, жилая площадь определенного количества шагов, которые нужно делать для работы; связь с бюро вырезок для присылки материала по вопросам, волнующим провинцию, и т. д. и т. п., и даже трубка и папиросы.

Пятое. Навыки и приемы обработки слов, бесконечно индивидуальные, приходящие лишь с годами ежедневной



работы: рифмы, размеры, аллитерации, образы, снижения, стиль, пафос, концовка, заглавие, начертание и т. д.

Например, социальное задание — дать слова идущим на питерский фронт красноармейцам. Целевая установка — разбить Юденича. Материал — слова лексикона. Орудие производства — огрызок карандаша. Прием — рифмованная частушка.

Результат:

Милкой мне в подарок бурка
и носки подарены.
Мчит Юденич с Петербурга,
как наскипидаренный.

Новизна четверостишия, оправдывающая производство этой частушки, — в рифме «носки подарены» и «наскипидаренный». Эта новизна делает вещь нужной, поэтической, типовой.

Для действия частушки необходим прием неожиданной рифмовки при полном несоответствии первого двухстрочья со вторым. Причем первое двухстрочье может быть названо вспомогательным.

Даже эти общие начальные правила поэтической работы дадут больше возможностей, чем сейчас, для тарификации и для квалификации поэтических произведений.

Моменты материала, оборудования и приема могут быть прямо засчитываемы как тарифные единицы.


Социальный заказ есть? Есть. 2 единицы. Целевая установка? 2 единицы. Зарифмовано? Еще единица. Аллитерации? Еще пол-единицы. Да за ритм единица, — странный размер требовал езды в автобусе.

Пусть не улыбаются критики, но я бы стихи какого-нибудь аляскинского поэта (при одинаковых способностях, конечно) расценивал бы выше, чем, скажем, стихи ялтинца. Еще бы! Аляскинцу и мерзнуть надо, и шубу покупать, и чернила у него в самопишущей ручке замерзают. А ялтинец пишет на пальмовом фоне, в местах, где и без стихов хорошо.

Такая же ясность вносится и в квалификацию.

Стихи Демьяна Бедного — это правильно понятый социальный заказ на сегодня, точная целевая установка — нужды рабочих и крестьян, слова полукрестьянского обихода (с примесью отмирающих поэтических рифмований) — бассейн прием.

Стихи Крученых — аллитерация, диссонанс, целевая установка — помощь грядущим поэтам.



Тут не придется заниматься метафизическим вопросом, кто лучше — Демьян Бедный или Крученых. Это поэтические работы из разных слагаемых, в разных позах, каждая из них может существовать, не вытесняя друг друга и не конкурируя.

С моей точки зрения, лучшим поэтическим произведением будет то, которое написано по социальному заказу Коминтерна, имеющее целевую установку на победу пролетариата, переданное новыми словами, выразительными и понятными всем, сработанное на столе, оборудованном по НОТу, и доставленное в редакцию на аэроплане. Я настаиваю — на аэроплане, так как поэтический быт — это тоже один из важнейших факторов нашего производства. Конечно, процесс подсчета и учета поэзии значительно тоньше и сложнее, чем это показано у меня.

Я нарочно заостряю, упрощаю и карикатурирую мысль. Заостряю для того, чтобы резче показать, что сущность современной работы над литературой не в оценке с точки зрения вкуса тех или иных готовых вещей, а в правильном подходе к изучению самого производственного процесса.

Смысл настоящей статьи отнюдь не в рассуждении о готовых образцах или приемах, а в попытке раскрытия самого процесса поэтического производства.

Как же делается стих?

Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа.

Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно.

Хорошую поэтическую вещь можно сделать к сроку, только имея большой запас предварительных поэтических заготовок.

Например, сейчас (пишу только о том, что моментально пришло в голову) мне сверлит мозг хорошая фамилия «господин Глицерон», происшедшая случайно, при каком-то перевернутом разговоре о глицерине.

Есть и хорошие рифмы:

(И в небе цвета) крем

(вставал суровый) Кремль.

(В Рим ступайте, к французам), к немцам,

(там ищите приют для) богемца.

(Под лошадиный) фырк

(когда-нибудь я добреду до) Уфы.

Уфа

глуха.

(Окрашенные) нагусто
(и дни и ночи) августа.



И т. д. и т. д.

Есть правящийся мне размер какой-то американской песенки, еще требующей изменения и руссифицирования:

Хат хардет хена
Ди веми оф совена,
Ди веми оф совена
Джи-эй.

Есть крепко скроенные аллитерации по поводу увиденной мельком афиши с фамилией «Нита Жо»:

Где живет Нита Жо?
Нита ниже этажом.

Или по поводу красильни Ляминой:

Краска — дело мамино.
Моя мама Лямина.

Есть темы разной ясности и мутности:

1) Дождь в Нью-Йорке.

2) Проститутка на бульваре Капуцинов в Париже. Проститутка, любить которую считается особенно шикарным потому, что она одноногая — другая нога отрезана, кажется, трамваем.

3) Старик при уборной в огромном геслеровском ресторане в Берлине.

4) Огромная тема об Октябре, которую не доделать, не пожив в деревне, и т. д. и т. д.

Все эти заготовки сложены в голове, особенно трудные записаны.

Способ грядущего их применения мне неведом, но я знаю, что применено будет все.

На эти заготовки у меня уходит все мое время. Я трачу на них от 10 до 18 часов в сутки и почти всегда что-нибудь бормочу. Сосредоточением на этом объясняется пресловутая поэтическая рассеянность.

Работа над этими заготовками проходит у меня с таким напряжением, что я в девяноста из ста случаев знаю даже место, где на протяжении моей пятнадцатилетней работы пришли и получили окончательное оформление те или иные рифмы, аллитерации, образы и т. д.



- Улица. —
- Лица у... (Трамвай от Сухаревой башни до Сретенских ворот, 1913 г.)
- Угрюмый дождь скосил глаза.
- А за... (Страстной монастырь, 1912 г.)
- Гладьте сухих и черных кошек. (Дуб в Кунице, 1914 г.)
- Леевой.
- Левой. (Извозчик на набережной, 1917 г.)
- Сукин сын Дантес. (В поезде около Мытищ, 1924 г.)

И т. д. и т. д.

Эта «записная книжка» — одно из главных условий для делания настоящей вещи.

Об этой книжке пишут обычно только после писательской смерти, она годами валяется в мусоре, она печатается посмертно и после «завершенных вещей», но для писателя эта книга — все.

У начинающих поэтов эта книжка, естественно, отсутствует, отсутствует практика и опыт. Сделанные строки редки, и поэтому вся поэма водяниста, длинна.

Начинающий ни при каких способностях не напишет сразу крепкой вещи; с другой стороны, первая работа всегда «свежее», так как в нее вошли заготовки всей предыдущей жизни.

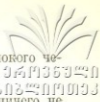
Только присутствие тщательно обдуманых заготовок дает мне возможность поспевать с вещью, так как норма моей выработки при настоящей работе — это 8—10 строк в день.

Поэт каждую встречу, каждую вывеску, каждое событие при всех условиях расценивает только как материал для словесного оформления.

Раньше я так влезал в эту работу, что даже боялся высказать слова и выражения, казавшиеся мне нужными для будущих стихов, — становился мрачным, скучным и неразговорчивым.

Году в тринадцатом, возвращаясь из Саратова в Москву, я в целях доказательства какой-то вагонной спутнице своей полной лояльности сказал ей, что я «не мужчина, а облако в штанах». Сказав, я сейчас же сообразил, что это может пригодиться для стиха, — а вдруг это разойдется изустно и будет разбазарено зря? Страшно обеспокоенный, я с полчаса допрашивал девушку наводящими вопросами и успокоился, только убедившись, что мои слова уже вылетели у нее из следующего уха.

Через два года «облако в штанах» понадобилось мне для названия целой поэмы.



Я два дня думал над словами о нежности одинокого человека к единственной любимой.

Как он будет беречь и любить ее?

Я лег на третью ночь спать с головной болью, ничего не придумав. Ночью определение пришло.

Тело твое
буду беречь и любить,
как солдат, обрубленный войною,
ненужный, ничей,
бережет
свою единственную ногу.

Я вскочил, полупроснувшись. В темноте обугленной спичкой записал на крышке папиросной коробки «единственную ногу» и заснул. Утром я часа два думал, что это за «единственная нога» записана на коробке и как она сюда попала.

Улавливаемая, но не уловленная за хвост рифма управляет существование: разговариваешь не понимая, ешь не разбирая и не будешь спать, почти видя летающую перед глазами рифму.

С легкой руки Шенгели у нас стали относиться к поэтической работе как к легкому пустяку. Есть даже молодцы, превосшедшие профессора. Вот, например, из объявлений харьковского «Пролетария» (№ 256):

«Как стать писателем.

Подробности за 50 коп. марками. Ст. Славянск, Донецкой железной дороги, почт. ящик № 11».

Не угодно ли?!

Впрочем, это продукт дореволюционный. Уже приложением к журналу «Развлечение» рассылалась книжница «Как в 5 уроков стать поэтом».

Я думаю, что даже мои небольшие примеры ставят поэзию в ряд труднейших дел, каковым она и является в действительности.

Отношение к строке должно быть равным отношению к женщине в гениальном четверостишии Пастернака:

В тот день тебя от гребенок до ног,
как трагик в провинции драму Шекспинову,
таскал за собой и знал наизубок,
шатался по городу и ренетировал.

В следующей главе я попробую показать развитие этих предварительных условий делания стиха на конкретном примере писания одного из стихотворений.



Наиболее действенным из последних моих стихов я считаю — «Сергею Есенину».

Для него не пришлось искать ни журнала, ни издателя — его переписывали до печати, его тайком вытащили из набора и напечатали в провинциальной газете, чтения его требует сама аудитория, во время чтения слышны летающие мухи, после чтения люди жмут ланы, в кулуарах бесятся и восхваляют, в день выхода появилась рецензия, состоящая одновременно из ругани и комплиментов.

Как работался этот стих?

Есенина я знал давно — лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубаше с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штилеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более, что он уже писал правящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежды:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... Мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки нехватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции, у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин! На вас и пиджак и галстук.

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей... и т. д.
Небо — колокол, месяц — язык... и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,
Я — большевик...

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник. Не молоконосной корове, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его главным образом за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз; встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАШПу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленного Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием



густыми червонцами. Я весь день возвращался к тому виду и вечером, разумеется, долго говорил с товарищами, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья — есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью. Огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подраसेялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей...

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

Сразу стало ясно, сколько колеблющихся этот сильный стих, именно стих, подведет под петлю и револьвер. И никакими, никакими газетными анализами и статьями этот стих не аннулируешь.

С этим стихом можно и надо бороться стихом, и только стихом.

Так поэтам СССР был дан социальный заказ написать стихи об Есенине. Заказ исключительный, важный и срочный, так как есенинские строки начали действовать быстро и без промаха. Заказ приняли многие. Но что написать? Как написать?

Появились стихи, статьи, воспоминания, очерки и даже драмы. По-моему, 99% написанного об Есенине просто чушь или вредная чушь.

Мелкие стихи есенинских друзей. Их вы всегда отличите по обращению к Есенину, они называют его по-семейному — «Сережа» (откуда это неподходящее слово взял и Безыменский). «Сережа» как литературный факт не существует. Есть поэт — Сергей Есенин. О таком просим и говорить. Введение семейного слова «Сережа» сразу разрывает социальный заказ и метод оформления. Большую, тяжелую тему слово «Сережа» сводит до уровня эпиграммы или мадригала. И никакие слезы поэтических родственников не помогут. Поэтически эти стихи не могут впечатлять. Эти стихи вызывают смех и раздражение.

Стихи есенинских «врагов», хотя бы и примиренных его смертью, — это поповские стихи. Эти просто отказывают



Есенину в поэтическом погребении из-за самого факта самоубийства.

Но такого злого хулиганства
Мы не ждали даже от тебя...

(Кажется, Жаров.)

Стихи этих — это стихи наскоро выполняющих плохо понятый социальный заказ, в котором целевая установка совершенно не связана с приемом и берется совершенно не действующий в этом трагическом случае фельетонный сти-лек.

Выврванное из сложной социальной и психологической обстановки самоубийство, с его моментальным, немотивированным отрицанием (а как же иначе?!), угнетает фальшивостью.

Мало поможет для борьбы с вредом последнего есенинского стиха и проза о нем.

Начиная с Когана, который, по-моему, изучал марксизм не по Марксу, а постарался вывести его самостоятельно из изречения Луки: «Блохи все не плохи, все черненькие и все прыгают», считающий эту истину высшим научным объективизмом, и поэтому заочно (посмертно) пишущий уже никому не нужную восхваляющую статью, и кончая дурно пахнущими книжонками Крученых, который обучает Есенина поллитрамоте так, как будто сам Крученых всю жизнь провел на каторге, страдая за свободу, и ему большого труда стоит написать шесть (!) книжечек об Есенине рукой, с которой еще не стерлась полоса от гремящих кандалов.


Что же и как написать об Есенине?

Осматривая со всех сторон эту смерть и перетряхивая чужой материал, я сформулировал и поставил себе задачу.

Целевая установка: обдуманно парализовать действие последних есенинских стихов, сделать есенинский конец интересным, выставить вместо легкой красоты смерти другую красоту, так как все силы нужны рабочему человечеству для начатой революции и оно, несмотря на тяжесть пути, на тяжелые контрасты эпохи, требует, чтобы мы славили радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм.

Сейчас, имея стих под рукой, легко формулировать, но как трудно было тогда его начинать!

Работа совпала как раз с моими разъездами по провинции и чтением лекций. Около трех месяцев я изо дня в день возвращался к теме и не мог придумать ничего пут-



ного. Лезла всякая чертовщина с синими лицами и водо-
проводными трубами. За три месяца я не придумал ни одной
строки. Только от ежедневного просеивания высеивались
заготовки-рифмы, вроде «в иной — пивной», «напо-
стов — по сто». Уже подъезжая к Москве, я понял, что
трудность и долгость писания — в чересчур большом соот-
ветствии описываемого с личной обстановкой. Те же номера,
те же трубы и та же вынужденная одиночество.

Обстановка заворачивала в себя, не давала выбраться,
не давала ни ощущений, ни слов, нужных для клеймения,
для отрицания, не давала данных для призыва бодрости.

Отсюда почти правило: для делания поэтической вещи
необходима перемена места или времени.

Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-
нибудь предмет, вы должны отойти на расстояние, равное
тройной величине предмета. Не выполнив этого, вы просто
не будете видеть изображаемой вещи.

Чем вещь или событие больше, тем и расстояние, на ко-
торое надо отойти, будет больше. Слабосильные топчутся
на месте и ждут, пока событие пройдет, чтоб его отразить,
мощные забегают настолько же вперед, чтоб тащить поня-
тое время.

Описание современности действующими лицами сегод-
няшних боев всегда будет неполно, даже неверно, во вся-
ком случае однобоко.

Очевидно, такая работа — сумма, результат двух работ:
записей современника и обобщающей работы грядущего ху-
дожника. В этом — трагедия революционного писателя: мож-
но дать блестящий протокол, например «Неделя» Либедина
ского, и безнадежно сфальшивить, взявшись за обобщения
без всякой дистанции. Если не дистанции времени и места,
то хотя бы головы.

Так, например, уважение, оказываемое «поэзии» в ущерб
фактам и хронике, заставило рабкоров выпустить сборник
«Ленестки» со стихами вроде:

Я — пролетарская пушка,
Стреляю туда и сюда.

В этом урок: 1) бросим бред с разворачиванием «эпиче-
ских полотен» во время баррикадных боев, — все полотно
раздерут; 2) ценность фактического материала (отсюда и
интерес к корреспонденциям рабселькоров) во время рево-
люции должна тарифицироваться выше, во всяком случае
не ниже, чем так называемое «поэтическое произведение».
Скороспелая поэтизация только выхолащивает и коверкает



материал. Все учебники поэзии а ля Шенгели вредны, потому что они не выводят поэзию из материала, дают эссенции фактов, не сжимают фактов до того, пока не получится прессованное, сжатое, экономное слово, а просто накидывают какую-нибудь старую форму на новый факт. Форма чаще всего не по росту: или факт совсем затеряется, как блоха в брюках, например радимовские поросята в его греческих, приспособленных для «Илиад» пентаметрах, или факт выширает из поэтической одежды и делается смешным вместо величественного. Так выглядят, например, у Кириллова «Матросы», шествующие в раздирающемся по швам четырехстопном поношенном амфибрахии.

Перемена плоскости, в которой совершился тот или иной факт, расстояние — обязательно. Это не значит, конечно, что поэт должен сидеть у моря и ждать погоды, пока пройдет мимо время. Он должен подгонять время. Медленный ход времени заменить переменной места, в день, проходящий фактически, пропускать столетие в фантазии.

Для легких, для мелких вещей такое перемещение можно и надо делать (да оно так и само делается) искусственно.

Хорошо начинать писать стих о Первом мае этак в ноябре и в декабре, когда этого мая действительно дозарезу хочется.

Чтобы написать о тихой любви, поезжайте в автобусе № 7 от Лубянской площади до площади Ногина. Эта отвратительная тряска лучше всего оттенит вам прелесть другой жизни. Тряска необходима для сравнения.

Время нужно и для выдержки уже написанной вещи.

Все стихи, которые я писал на немедленную тему при самом большом душевном подъеме, нравившиеся самому при выполнении, все же через день казались мне мелкими, неделанными, однобокими. Всегда что-нибудь ужасно хочется переделать.

Поэтому, закончив какую-нибудь вещь, я запираю ее в стол на несколько дней, через несколько дней вынимаю и сразу вижу раньше исчезавшие недостатки.

Заработался.

Это опять-таки не значит, что надо вещи делать только несвоевременные. Нет. Именно своевременные. Я только останавливаю внимание поэтов на том, что считающиеся легкими агитки на самом деле требуют самого напряженного труда и различнейших ухищрений, возмещающих недостаток времени. Даже готовя смешную агитвесть, надо ее, на-



пример, переписывать с черновика вечером, а не утром. Даже пробежав раз глазами утром, видишь много легко исправляемого. Если перепишите утром — большинство исправлений там и останется. Умение создавать расстояния и организовывать время (а не ямбы и хорей) должно быть внесено как основное правило всякого производственного поэтического учебника.

Вот почему стих об Есенине я двинул больше на маленьком перегоне от Лубянского проезда до Чаеуправления на Мясницкой (шел погашать аванс), чем за всю мою поездку. Мясницкая была резким и нужным контрастом после одиночества номеров, — мясницкое многолюдие после провинциальной тишины, возбужденные и бодрость автобусов, авто и трамваев, а кругом, как вызов старым лучинным деревьям, электротехнические конторы. Я хожу, размахивая руками и мыча еще почти без слов, то укорачивая шаг, чтобы не мешать мычанию, то помычиваю быстрее, в такт шагам.

Так обстругивается и оформляется ритм — основа всякой поэтической вещи, проходящая через нее гулом. Постепенно из этого гула начинаешь вытискивать отдельные слова.

Некоторые слова просто отскакивают и не возвращаются никогда, другие задерживаются, переворачиваются и выворачиваются по несколько десятков раз, пока не почувствуешь, что слово стало на место (это чувство, развиваемое вместе с опытом, и называется талантом). Первым чаще всего выявляется главное слово — главное слово, характеризующее смысл стиха, или слово, подлежащее рифмовке. Остальные слова приходят и вставляются в зависимости от главного. Когда уже основное готово, вдруг выступает ощущение, что ритм рвется — нехватает какого-то слога, звукочика. Начинаешь снова перекраивать все слова, и работа доводит до иступления. Как будто сто раз примеряется на зуб не садящаяся коронка и наконец после сотни примерок ее нажали, и она села. Сходство для меня усугубляется еще и тем, что когда наконец эта коронка «села», у меня аж слезы из глаз (буквально) от боли и от облегчения.

Откуда приходит этот основной гул-ритм — неизвестно. Для меня — это всякое повторение во мне звука, шума, покачивания или даже вообще повторение каждого явления, которое я выделяю звуком. Ритм может принести и шум повторяющегося моря, и прислуга, которая ежеутренне хлопает дверью и, повторяясь, плетется, шлепая, в моем сознании, и даже вращение земли, которое у меня, как в магазине наглядных пособий, карикатурно чередуется и свя-



зывается обязательно с посвистыванием раздуваемого ветра.

Старание организовать движение, организовать круг себя, находя ихний характер, ихние особенности, — это одна из главных постоянных поэтических работ — ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне меня или только во мне, скорей всего — во мне. Но для его пробуждения должен быть толчок, — так от неизвестно какого скрипа начинает гудеть в брюхе у рояля, так, грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага.

Ритм — это основная сила, основная энергия стиха. Объяснить его нельзя, про него можно сказать только так, как говорится про магнетизм или электричество. Магнетизм и электричество — это виды энергии. Ритм может быть один во многих стихах, даже во всей работе поэта, и это не делает работу однообразной, так как ритм может быть до того сложен и трудно оформляем, что до него не доберешься и несколькими большими поэмами.

Поэт должен развивать в себе именно это чувство ритма и не заучивать чужие размерчики; ямб, хорей, даже канонизированный свободный стих — это ритм, приспособленный для какого-нибудь конкретного случая и именно только для этого конкретного случая годящийся. Так, например, магнитная энергия, отпущенная на подковку, будет притягивать стальные перышки, и ни к какому другому делу ее не приспособишь.

Из размеров я не знаю ни одного. Я просто убежден для себя, что для героических или величественных передач надо брать длинные размеры с большим количеством слов, а для веселых — короткие. Почему-то с детства (лет с девяти) вся первая группа ассоциируется у меня с

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

а вторая — с

Отречемся от старого мира...

Курьезно. Но, честное слово, это так.

Размер получается у меня в результате покрытия этого ритмического гула словами — словами, выдвигаемыми целевой установкой (все время спрашиваешь себя: а то ли это слово? А кому я его буду читать? А так ли оно поймется? и т. д.), словами, контролируемые высшим тактом, способностями, талантом. Сначала стих Есенину просто мычался, приблизительно так:



та-ра-ра (ра-ра) ра, ра-ра, ра (ра-ра)
 ра-ра-ри (ра-ра-ра) ра-ра (ра-ра-ра-ра),
 ра-ра-ра (ра-ра ра ра ра ра ри)
 ра-ра-ра (ра ра-ра) ра-ра (ра) ра-ра.

Потом выясняются слова:

Вы ушли ра ра ра ра ра в мир иной.
 Может быть, летите ра-ра-ра-ра-ра-ра.
 Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной.
 Ра-ра-ра (ра-ра-ра-ра) трезвость.

Десятки раз повторяю, прислушиваясь к первой строке:

Вы ушли ра-ра-ра в мир иной,

и т. д.

Что ж это за «рарара» проклятая и что же вместо нее вставить? Может быть, оставить без всякой «рарары»:

Вы ушли в мир иной.

Нет! Сразу вспоминается какой-то слышанный стих:

Бедный конь в поле пал.

Какой же тут конь! Тут не лошадь, а Есенин. Да и без этих слогов какой-то оперный галоп получается, а эта «рарара» куда возвышеннее. «Рарара» выкидывать никак нельзя — ритм правильный. Начинаю подбирать слова.

Вы ушли, Сережа, в мир иной...
 Вы ушли бесповоротно в мир иной.
 Вы ушли, Есенин, в мир иной.

Какая из этих строчек лучше?

Все дрянь! Почему?

Первая строка фальшива из-за слова «Сережа». Я никогда так амигошонски не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, не свойственных мне и нашим отношениям словечек: «ты», «милый», «брат» и т. д.

Вторая строка плоха потому, что слово «бесповоротно» в ней необязательно, случайно, вставлено только для размера: оно не только не помогает, ничего не объясняет — оно просто мешает. Действительно, что это за «бесповоротно»? Разве кто-нибудь умирал «поворотно»? Разве есть смерть со срочным возвратом?

Третья строка не годится своей полной серьезностью (целевая установка постепенно вбивает в голову, что это недостаток всех трех строк). Почему эта серьезность недопу-



стима? Потому, что она дает повод приписать мне, веру в существование загробной жизни в евангельских тонах. Риф у меня нет, это — раз, а во-вторых, эта серьезность делает стих просто погребальным, а не тенденциозным, затемняет целевую установку. Поэтому я ввожу слова «как говорится»:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.

Строка сделана — «как говорится», не будучи прямой насмешкой, тонко снижает патетику стиха и одновременно устраняет всяческие подозрения по поводу веры автора во все загробные ахиней. Строка сделана и сразу становится основной, определяющей все четверостишие, — его нужно сделать двойственным, не приплясывать по поводу горя, а с другой стороны, не распускать слезоточивой нуди. Надо сразу четверостишие перервать пополам: две торжественные строки, две разговорные, бытовые, контрастом оттеняющие друг друга. Поэтому сразу — согласно моему убеждению, что для строк повеселей надо пообрезать слога, — я взялся за конец четверостишия:

Ни аванса вам, ни бабы, ни пивной,
ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра трезвость.

Что с этими строками делать? Как их урезать? Урезать надо «ни бабы». Почему? Потому что эти «бабы» живы. Называть их так, когда с большой нежностью им посвящено большинство есенинской лирики, — бестактно. Поэтому и фальшиво, поэтому и не звучит. Осталось:

Ни аванса вам, ни пивной.

Пробую пробормотать про себя — не получается. Эти строки до того отличны от первых, что ритм не меняется, а просто ломается: рвется. Перерезал, что же делать? Недостает какого-то сложка. Эта строка, выбившись из ритма, стала фальшивой и с другой стороны — со смысловой. Она недостаточно контрастна и затем взваливает все «авансы и пивные» на одного Есенина, в то время как они одинаково относятся ко всем нам.

Как же сделать эти строки еще более контрастными и вместе с тем обобщенными?

Беру самое простонародное:

Нет тебе ни дна, ни покрывки.
Нет тебе ни аванса, ни пивной.

В самой разговорной, в самой вульгарной форме говорится:

Ни тебе дна, ни покрывки.
Ни тебе аванса, ни пивной.



Строка стала на место и размером и смыслом. «Ни тебе» еще больше контрастировало с первыми строками, а обращение в первой строке «вы ушли», а в третьей — «ни тебе» сразу показало, что авансы и пивные вставлены не для унижения есенинской памяти, а как общее явление. Эта строка явилась хорошим разбегом для того, чтобы выкинуть все слога перед «трезвость», и эта «трезвость» явилась как бы решением задачи. Поэтому четверостишие располагает к себе даже ярых приверженцев Есенина, оставаясь по существу почти издевательским.

Четверостишие в основном готово, остается только одна строка, не заполненная рифмой.

Вы ушли, как говорится, в мир иной,
может быть, летите ра-ра-ра-ра.
Ни тебе аванса, ни пивной —
трезвость.

Может быть, можно оставить незарифмованной? Нельзя. Почему? Потому что без рифмы (понимая рифму широко) стих рассыплется.

Рифма возвращает вас к предыдущей строке, заставляет вспомнить ее, заставляет все строки, оформляющие одну мысль, держаться вместе.

Обыкновенно рифмой называют созвучие последних слов в двух строках, когда один и тот же ударный гласный и следующие за ним звуки приблизительно совпадают.

Так говорят все, и тем не менее это ерунда.

Концевое созвучие, рифма — это только один из бесконечных способов связывать строки, кстати сказать, самый простой и грубый.

Можно рифмовать и начала строк:

улица —
лица у дотов годов резче.

и т. д.

Можно рифмовать конец строки с началом следующей:

Угрюмый дождь скосил глаза.
А за решеткой
четкой,

и т. д.

Можно рифмовать конец первой строки и конец второй одновременно с последним словом третьей или четвертой строки:

Среди ученых шеренг
еле-еле
в русском стихе разбирался Шенгели,



и т. д. и т. д., до бесконечности.

В моем стихе необходимо зарифмовать слово «резвость». Первыми пришедшими в голову будут слова вроде «резвость», например:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
Может быть, легите... знаю вашу резвость!
Ни тебе аванса, ни пивной —
резвость.

Можно эту рифму оставить? Нет. Почему? Во-первых, потому, что эта рифма чересчур полная, чересчур прозрачная. Когда вы говорите «резвость», то рифма «резвость» напрашивается сама собою и, будучи произнесенной, не удивляет, не останавливает вашего внимания. Такова судьба почти всех однородных слов, если рифмуется глагол с глаголом, существительное с существительным, при одинаковых корнях или падежах, и т. д. Слово «резвость» плохо еще и тем, что оно вносит элемент насмешки уже в первые строки, ослабляя таким образом всю дальнейшую контрастность. Может быть, можно облегчить себе работу, заменив слово «резвость» каким-нибудь легче рифмуемым, или не ставить «резвость» в конец строки, а дополнить строку несколькими слогами, например «резвость, тишь»? По-моему, этого делать нельзя, — я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало. В результате моя рифмовка почти всегда необычна и уж во всяком случае до меня не употреблялась и в словаре рифм ее нет.

Рифма связывает строки, поэтому ее материал должен быть еще крепче, чем материал, пошедший на остальные строки.

Взяв самые характерные звуки рифмуемого слова «резв», повторяю множество раз про себя, прислушиваясь ко всем ассоциациям: «рез», «резв», «резерв», «влез», «врез», «врезв», «врезываюсь». Счастливая рифма найдена. Глагол — да еще торжественный!

Но вот беда: в слове «резвость», хотя и не так характерно, как «резв», но все же ясно звучат «т» и «сть». Что с ними сделать? Надо ввести аналогичные буквы и в предыдущую строку.

Поэтому слово «может быть» заменяется словом «пусто-



та», изобилующим и «т» и «ст», а для смягчения ляется «летите»; звучащее отчасти, как «летывать»

И вот окончательная редакция:

Вы ушли, как говорится, в мир иной.
 Пустота — летите, в звезды врезываюсь...
 Ни тебе аванса, ни пивной —
 трезвость.

Разумеется, я чересчур опрощаю, схематизирую и подчиняю мозговому отбору поэтическую работу. Конечно, процесс писания окольной, интуитивней. Но в основе работа все-таки ведется по такой схеме.

Первое четверостишие определяет весь дальнейший стих. Имея в руках такое четверостишие, я уже прикидываю, сколько таких нужно по данной теме и как их распределить для наилучшего эффекта: архитектоника стиха.

Тема большая и сложная — придется потратить на нее таких четверостиший, шестистиший да двухстиший-кирпичей штук 20—30.

Наработав приблизительно почти все эти кирпичи, я начинаю их примерять, ставя то на одно, то на другое место, прислушиваясь, как они звучат, и стараясь представить себе производимое впечатление.

Попробирив и продумав, решаю: сначала надо заинтересовать всех слушателей двойственностью, при которой неизвестно, на чьей я стороне, затем надо отобрать Есенина у пользующихся его смертью в своих выгодах, надо вывалить его и обелить так, как этого не смогли его почитатели, «загоняющие в холм тупые рифмы». Окончательно надо завоевать сочувствие аудитории, обрушившись на опошливающих есенинскую работу, тем более, что они опошливают и всякую другую, за какую бы ни взялись, — на всех этих Собиновых, Коганов, — быстро ведя слушателя уже легкими двухстрочиями. Завоевав аудиторию, выхватив у нее право на совершенное Есениным и вокруг него, неожиданно пустить слушателя по линии убеждения в полной нестоящести, незначительности и неинтересности есенинского конца, перефразировав его последние слова, придав им обратный смысл.

Примитивным рисуночком получится такая схема:



Имея основные глыбы четверостиший и составив общий архитектурный план, можно считать основную творческую работу выполненной.

Далее идет сравнительно легкая техническая обработка поэтической вени.

Надо довести до предела выразительность стиха. Одно из больших средств выразительности — образ. Не основной образ-видение, который возникает в начале работы, как первый, туманный еще ответ на социальный заказ. Нет, я говорю о вспомогательных образах, помогающих вырастать этому главному. Этот образ — одно из всегдашних средств поэзии, и течения, как, например, имажинизм, делавшие его целью, обрекали себя по существу на разработку только одной из технических сторон поэзии.

Способы выделки образа бесконечны.

Один из примитивных способов делания образа — это сравнения. Первые мои вещи, например «Облако в штанах», были целиком построены на сравнениях, всё «как, как и как». Не эта ли примитивность заставляет поздних ценителей считать «Облако» моим «кульминационным» стихом? В позднейших вещах, и в моем «Есенине», конечно, эта примитивность выведена. Я нашел только одно сравнение: «утомительно и длинно, как Доронин».


Почему, «как Доронин», а не как расстояние до луны, например? Во-первых, взято сравнение из литературной жизни потому, что вся тема литературская. А во-вторых, «Железный пахарь» (так, кажется?) длиннее дороги до луны, потому что дорога эта нереальна, а «Железный пахарь», к сожалению, реален, а затем дорога до луны оказалась бы короче своей новизной, а 4000 строк Доронина поражают однообразием 16 тысяч раз виденного словесного и рифменного пейзажа. А затем — и образ должен быть тенденциозен, то есть, разрабатывая большую тему, надо и отдельные образишки, встречающиеся по пути, использовать для борьбы, для литературной агитации.

Распространеннейшим способом делания образа является также метафоризирование, то есть перенос определений, являвшихся до сего времени принадлежностью только некоторых вещей, и на другие слова, вещи, явления, понятия.

Например, метафоризирована строка:

И несут стихов заукокойный лом.

Мы знаем — железный лом, шоколадный лом. Но как определить поэтическую труху, оставшуюся непримененной, не нашедшей себе употребления после других поэтических работ? Конечно, это лом стихов, стиховый лом. Здесь это лом одного рода — заукокойного, это «стихов заукокойных лом». Но так эту строку нельзя оставить, так как получается «заукокойных лом», «хлом», читающийся, как



«шлам», и искажающий этим так называемым сдвигом смысл смысловую сторону стиха. Это очень частая небрежность.

Например, в лирическом стихотворении Уткина, помещенном недавно в «Прожекторе», есть строка:

Не придет он так же еот,
как на зимние озера летний лебедь не придет.

Получается определенный «живот».

Наиболее эффектной является первая строка стиха, выпущенного Брюсовым в первые дни войны в журнале «Наши дни»:

Мы ветераны, мучат нас раны.

Этот сдвиг уничтожается, давая одновременно простейшее и наиболее четкое определение расстановкой слов —

стихов зауспокойный лом.

Один из способов делания образа, наиболее применяемый мною в последнее время, — это создание самых фантастических событий — фактов, подчеркнутых гиперболой.

Чтобы врассыпную разбежался Коган,
встреченных увеча пиками усов.

Коган становится таким образом собирательным, что дает ему возможность бежать врассыпную, а усы превращаются в пики, а чтобы эту пикивость усугубить, валяются кругом искалеченные усами.

Способы образного построения варьируются (как и вся остальная стихотворная техника) в зависимости от пресыщенности читателя той или другой формой.

Может быть обратная образность, то есть такая, которая не только не расширяет сказанного воображением, а, наоборот, старается втиснуть впечатление от слов в нарочно ограниченные рамки. Например, в моей старой поэме «Война и мир»:

В гниющем вагоне на 40 человек —
4 ноги.

На таком цифровом образе построены многие из вещей Сельвинского.

Затем идет работа над отбором словесного материала. Надо точно учитывать среду, в которой развивается поэтическое произведение, чтобы чуждое этой среде слово не попало случайно.

Например, у меня была строка:

Вы также, *милый мой*, умели,

«Милый мой» — фальшиво, во-первых, потому, что оно идет вразрез с суровой обличительной обработкой стиха; во-вторых, этим словом никогда не пользовались мы в нашей поэтической среде; в-третьих, это мелкое слово, употребляемое обычно в незначительных разговорах, применяемое скорее для затушовки чувства, чем для оттенения его; в-четвертых, человеку, действительно размякшему от горести, свойственно прикрываться словом поглубже. Кроме того, это слово не определяет, что человек умел, — что умели?

Что Есенин умел? Сейчас большой спрос, пристальный и восхищенный взгляд на его лирику; литературное же продвижение Есенина шло по линии так называемого литературного скандала (вещи не обидной, а весьма почтенной, являющейся отголоском, боковой линией знаменитых футуристических выступлений), а именно — эти скандалы были при жизни литературными вехами, этапами Есенина.

Как не подходило бы к нему при жизни:

Вы такое петь душе умели.

Есенин не пел (по существу он, конечно, цыганогитаристый, но его поэтическое спасение в том, что он хоть при жизни не так воспринимался, и в его томах есть десяток и поэтически новых мест). Есенин не пел, он грубил, он загибал. Только после долгих размышлений я поставил это «загибать», как бы ни кривило такое слово воспитанников литературных публичных домов, весь день слушающих сплошные загибы и мечтающих в поэзии отвести душу на сиренях, персях, трелях, аккордах и ланитах. Без всяких комментариев приведу постепенную обработку слов в одной строке:

- 1) наши дни к веселью мало оборудованы;
- 2) наши дни под радость мало оборудованы;
- 3) наши дни под счастье мало оборудованы;
- 4) наша жизнь к веселью мало оборудована;
- 5) наша жизнь под радость мало оборудована;
- 6) наша жизнь под счастье мало оборудована;
- 7) для веселий планета наша мало оборудована;
- 8) для веселостей планета наша мало оборудована;
- 9) не особенно планета наша для веселий оборудована;
- 10) не особенно планета наша для веселья оборудована;
- 11) планетинка наша к удовольствиям не очень оборудована;

и наконец последняя, 12-я:

для веселия планета наша мало оборудована.



Я мог бы произнести целую защитительную речь за последнюю из строк, но сейчас удовлетворюсь списыванием этих строк с черновика для демонстрации, сколько надо работы класть на выделку нескольких слов.

К технической обработке относится и звуковое качество поэтической вещи — сочетание слова со словом. Эта «магия слов», это «быть может, все в жизни лишь средство для ярко невучих стихов», эта звуковая сторона кажется также многим самоцелью поэзии, это опять-таки низведение поэзии до технической работы. Переборщенность созвучий, аллитераций и т. п. через минуту чтения создает впечатление пресыщенности.

Например, Бальмонт:

Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны... и т. д.

Дозировать аллитерацию надо до чрезвычайности осторожно и по возможности не выпирающими наружу повторами. Пример ясной аллитерации в моем есенинском стихе — строка:

Где он, бронзы звон или гранита грань...

Я прибегаю к аллитерации для обрамления, для еще большей подчеркнутости важного для меня слова. Можно прибегать к аллитерации для простой игры словами, для поэтической забавы; старые (для нас старые) поэты пользовались аллитерацией главным образом для мелодичности, для музыкальности слова и поэтому применяли часто наиболее для меня ненавистную аллитерацию — звукоподражательную. О таких способах аллитерирования я уже говорил, упоминая о рифме.

Конечно, не обязательно уснащать стих вычурными аллитерациями и сплошь его небывало зарифмовывать. Помните всегда, что режим экономии в искусстве — всегдашнее важнейшее правило каждого производства эстетических ценностей. Поэтому, сделав основную работу, о которой я говорил вначале, многие эстетические места и вычурности надо сознательно притушевывать для выигрыша блеска другими местами.

Можно, например, полурифмовать строки, связать не лезущий в ухо глагол с другим глаголом, чтобы подвести к блестящей, громкогромающей рифме.

Этим лишним раз подчеркивается относительность всех правил писания стихов.



К технической работе относится и интонационная строфа поэтической работы.

Нельзя работать вещь для функционирования в безвоздушном пространстве или, как это часто бывает с поэзией, в чересчур воздушном.

Надо всегда иметь перед глазами аудиторию, к которой этот стих обращен. В особенности важно это сейчас, когда главный способ общения с массой — это эстрада, голос, непосредственная речь.

Надо в зависимости от аудитории брать интонацию — убеждающую или просительную, приказывающую или вопрошающую.

Большинство моих вещей построено на разговорной интонации. Но, несмотря на обдуманность, и эти интонации не строго-настроено установленная вещь, а обращения сплошь да рядом меняются мной при чтении, в зависимости от состава аудитории. Так, например, печатный текст говорит немного безразлично, в расчете на квалифицированного читателя:

Надо вырвать радость у грядущих дней.

Иногда в эстрадном чтении я усиливаю эту строку до крика:

Лозунг:

вырви радость у грядущих дней!

Поэтому не стоит удивляться, если будет кем-нибудь и в напечатанном виде дано стихотворение с аранжировкой его на несколько различных настроений, с особыми выражениями на каждый случай.

Сделав стих, предназначенный для печати, надо учесть, как будет восприниматься напечатанное именно как напечатанное. Надо принять во внимание среднестепенного читателя, надо всяческим образом приблизить читательское восприятие именно к той форме, которую хотел дать поэтической строке ее делатель. Наша обычная пунктуация с точками, с запятыми, вопросительными и восклицательными знаками чересчур бедна и маловыразительна по сравнению с оттенками эмоций, которые сейчас усложненный человек вкладывает в поэтическое произведение.

Размер и ритм вещи значительнее пунктуации, и они подчиняют себе пунктуацию, когда она берется по старому шаблону.

Все-таки все читают стих Алексея Толстого:

Шибанов молчал. Из произведенной ноги
Кровь алым струилась током,



ЭЛЕКТРОННАЯ
ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА

как —

Шибанов молчал из прозенной воги...

Дальше:

Довольно. Стыдно мне
Пред гордою полячкой унижаться

читается, как провинциальный разговорчик:

Довольно стыдно мне...

Чтобы читалось так, как думал Пушкин, надо разделить строку так, как делаю я:

Довольно.
Стыдно мне...

При таком делении на полустрочия ни смысловой, ни ритмической путаницы не будет. Раздел строчек часто диктуется и необходимостью вбить ритм безошибочно, так как наше конденсированное экономическое построение стиха часто заставляет выкидывать промежуточные слова и слоги, и если после этих слогов не сделать остановки, часто большей, чем между строками, то ритм оборвется.

Вот почему я пишу:

Пустота...
Летите,
в звезды врезаваясь.

«Пустота» стоит отдельно, как единственное слово, характеризующее небесный пейзаж. «Летите» стоит отдельно, дабы не было повелительного наклонения: «Летите в звезды», и т. д.

Одним из серьезных моментов стиха, особенно тенденциозного, декламационного, является концовка. В эту концовку обычно ставятся удачнейшие строки стиха. Иногда весь стих переделываешь, чтобы только была оправдана такая перестановка.

В стихе о Есенине такой концовкой, естественно, явилась перефразировка последних есенинских строчек.


Они звучат так:

Есенинское —

В этой жизни умирать не ново,
но и жить, конечно, не новей.

Мое —

В этой жизни помирать не трудно,
сделать жизнь значительно трудней.



На всем протяжении моей работы всего стихотворения я все время думал об этих строках. Работая другие строки, все время возвращался к этим — сознательно или нет.

Забить, что нужно сделать именно это — невозможно никак, поэтому я не записывал этих строк, а делал их наизусть (как раньше все и как теперь большинство из моих ударных стихотворений).

Поэтому не представляется возможным учесть количество переработок; во всяком случае, вариантов этих двух строк было не менее 50—60.

Бесконечно разнообразны способы технической обработки слова; говорить о них бесполезно, так как основа поэтической работы, как я неоднократно здесь упоминал, именно в изобретении способов этой обработки, и именно эти способы делают писателя профессионалом. Талмудисты поэзии, должно быть, поморщатся от этой моей книги — они любят давать готовые поэтические рецепты. Взять такое-то содержание, облечь его в поэтическую форму, ямб или хорей, зарифмовать кончики, подпустить аллитерацию, начинить образами — и стих готов.

Но это простое рукоделние кидают, будут кидать (и хорошо делают, что кидают) во все сорные корзины всех редакций.

Человеку, который в первый раз взял в руки перо и хочет через неделю писать стихи, — такому моя книга не нужна.

Моя книга нужна человеку, который хочет, несмотря ни на какие препятствия, быть поэтом, человеку, который, зная, что поэзия — одно из труднейших производств, хочет осознать для себя и для передачи некоторые, кажущиеся таинственными, способы этого производства.

Вроде выводов:

1. Поэзия — производство. Труднейшее, сложнейшее, но производство.

2. Обучение поэтической работе — это не изучение изготовления определенного, ограниченного типа поэтических вещей, а изучение способов всякой поэтической работы, изучение производственных навыков, помогающих создавать новые.

3. Новизна, новизна материала и приема обязательна для каждого поэтического произведения.

4. Работа стихотворца должна вестись ежедневно для улучшения мастерства и для накопления поэтических заготовок.

5. Хорошая записная книжка и умение обращаться с нею важнее умения писать без ошибок подходящими размерами.

6. Не надо пускать в ход большой поэтический выделка для выделки поэтических зажималок. Надо отворачиваться от такой нерациональной поэтической мелочи. Надо брать ся за перо только тогда, когда нет иного способа говорить, кроме стиха. Надо вырабатывать готовые вещи только тогда, когда чувствуешь ясный социальный заказ.

7. Чтоб правильно понимать социальный заказ, поэт должен быть в центре дел и событий. Знание теории экономики, знание реального быта, внедрение в научную историю для поэта — в основной части работы — важнее, чем схоластические учебнички молящихся на старье профессорско-идеалистов.

8. Для лучшего выполнения социального заказа надо быть передовым своего класса, надо вместе с классом вести борьбу на всех фронтах. Надо разбить вдребезги сказку об аполитичном искусстве. Эта старая сказка возникает сейчас в новом виде под прикрытием болтовни о «широких эпических полотнах» (сначала эпический, потом объективный и, наконец, беспартийный), о большом стиле (сначала большой, потом возвышенный и, наконец, небесный) и т. д. и т. д.

9. Только производственное отношение к искусству уничтожит случайность, беспринципность вкусов, индивидуализм оценок. Только производственное отношение поставит в ряд различные виды литературного труда: и стих и раб-коровскую записку. Вместо мистических рассуждений на поэтическую тему даст возможность точно подойти к назревшему вопросу по поэтической тарификации и квалификации.

10. Нельзя придавать выделке, так называемой технической обработке, самодовлеющей ценности. Но именно эта выделка делает поэтическое произведение годным к употреблению. Только разница в этих способах обработки делает разницу между поэтами, только знание, усовершенствование, накопление, разнообразивание литературных приемов делает человека профессионалом-писателем.

11. Бытовая поэтическая обстановка так же влияет на создание настоящего произведения, как и все другие факторы. Слово «богема» стало нарицательным для всякой художественно-обывательской бытовщины. К сожалению, борьба эта часто велась со словом и только со словом. Реально налицо атмосфера старого литературного индивидуального



карьеризма, мелких злобных кружковых интересов, взаимное подсиживание, подмена понятия «поэтический» «расхлябанный», «подвынвивший», «забулдыга» и т. д. Даже же одежда поэта, даже его домашний разговор с женой должен быть иным, определяемым всем его поэтическим производством.

12. Мы, лефы, никогда не говорим, что мы единственные обладатели секретов поэтического творчества. Но мы единственные, которые хотим вскрыть эти секреты, единственные, которые не хотят творчество спекулятивно окружить художественно-религиозным поклонением.

Моя попытка — слабая попытка одиночки, только пользующегося теоретическими работами моих товарищей словесников.

Надо, чтоб эти словесники перевели свою работу на современный материал и непосредственно помогли дальнейшей поэтической работе.

Мало этого.

Надо, чтоб органы просвещения масс перетряхнули преподавание эстетического старья.

КОММЕНТАРИИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

А ВЫ МОГЛИ БЫ?

Написано в начале 1913 года. Это стихотворение является первой ораторской вещью Маяковского, в которой он характеризует себя как поэта города. Маяковский утверждает, что новые поэтические образы делают будничные явления действительности фактами искусства.

«А вы
ноктюри сыграть
могли бы
на флейте водосточных труб?»

Н о к т ю р и (франц. nocturne) — лирическая музыкальная пьеса.

ВЫВЕСКАМ

Одно из самых ранних стихотворений Маяковского, написанное в начале 1913 года.

Первоначально Маяковский собирался стать профессиональным живописцем и учился в Московской школе живописи, ваяния и зодчества. Большинство ранних стихов Маяковского основано на зрительных образах, объясняющихся увлечением поэта живописью.

«Читайте железные книги!»

Ж е л е з н ы е к н и г и — вывески магазинов.

«...закружат созвездия «Магги»...»

«Магги» — название бульонного экстракта. Созвездия «Магги» — световая реклама экстракта.

«...свои проведут саркофаги».

С а р к о ф а г (греч.) — гроб.

КОЕ-ЧТО ПРО ПЕТЕРБУРГ

Написано в начале 1913 года. В этом стихотворении Маяковский передает свое ощущение городского пейзажа в образах живой природы: «слезы» — капли дождя, «губы неба» — тучи.

ПОСЛУШАЙТЕ!

Написано в конце 1913 года.

СКРИПКА И НЕМНОЖКО НЕРВНО

Написано в ноябре 1914 года. Тема этого стихотворения — одиночество поэта, не понятого и осмеянного буржуазным обществом.

«...шмыгнул на горящий Кузнецкий...»

Кузнецкий мост — одна из центральных улиц в Москве.

«А когда геликон...»

Геликон — медный духовой инструмент, кольцообразная труба с широким рупором.

ГИМН СУДЬЕ

Написано летом 1915 года и под заглавием «Судья» впервые появилось в юмористическом журнале «Новый Сатирикон» (№ 9, 1915), выходящем в течение 1913—1918 годов.

С этого стихотворения начинается сотрудничество Маяковского в «Новом Сатириконе». До выступления в этом журнале Маяковский печатал свои стихи только в сборниках поэтов-футуристов — литературной группы, оформившейся в течение 1910—1912 годов. В своей литературной автобиографии «Я сам» Маяковский вспоминает: «Для меня эти годы — формальная работа, овладение словом. Издатели не брали нас. Капиталистический нос чуял в нас динамитчиков. У меня не покупали ни одной строчки».

Поэты-футуристы (В. Хлебников, Д. Бурлюк, А. Крученых, В. Каменский и др.) выступали против господствующих течений буржуазной литературы, против признанных авторитетов и стремились создать новый поэтический язык, новые образы, новые размеры и рифмы.

Маяковский принял теоретическую программу футуристов, но в своей поэтической практике он уже в то время опередил их. Если футуристы бунтовали только против буржуазного искусства, то Маяковский восставал против всего буржуазного строя, против его законов, его религии, против мещанского бытового уклада.

Уже в то время Маяковский стремился расширить воздействие своей поэзии, но не мог этого сделать, потому что сборники стихов футуристов выходили небольшими тиражами (от 50 до 1000 экземпляров) и становились известными только очень ограниченному кругу читателей.

Буржуазные критики травили футуристов. Стихи Маяковского были неприемлемы для буржуазного читателя не только по своей необычной форме, но и потому, что по своему содержанию они казались вызовом существовавшему тогда в России строю.



Строгановское художественно-промышленное училище, в котором учился Маяковский.

Работа в «Новом Сатириконе» была очень важным этапом в биографии Маяковского: она укрепила публицистическую основу его поэзии. Маяковский впервые вышел из узко литературного круга к широкому читателю, и это отразилось на всем строе его поэзии: сюжете, языке, образах.

«Гимн судье» представляет собой стихотворный памфлет, направленный против царского, полицейского режима, превращавшего Россию, по выражению Ленина, в «тюрьму народов».

«По красному морю плывут каторжане,
трудом выгребая галеру...»

Галера (итал. galera) — гребное многовесельное судно. Встарину в Европе одним из тяжелых наказаний была ссылка на галеры. Гребцов приковывали цепями к скамейкам; отсюда образ Маяковского — «кандалное ржанье».

«Лишь, злобно забившись под своды законов,
живут унылые судьи».

Свод законов — многотомное собрание законов в царской России.

В этих строках Маяковский применяет очень распространенный в его поэзии прием каламбура — столкновение двух значений в одном слове: «своды законов» — «своды зданий».

ГИМН УЧЕНОМУ

Написано летом 1915 года, напечатано в «Новом Сатириконе». Стихотворение высмеивает буржуазного кабинетного ученого, оторванного от жизни, от ее запросов и практических задач.

ГИМН ОБЕДУ

Написано в июле 1915 года. По теме и заданию это стихотворение примыкает к стихотворным памфлетам Маяковского, направленным против буржуазии, ведущей разгульный образ жизни в тылу во время империалистической войны («Вам!», «Мое к этому отношение», «Надоедо»).

«Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы».

В сентябре 1914 года германской бомбардировкой был разрушен старинный собор города Реймса (Франция).

«...попрежнему будут ножки у пулярда...»

Пулярда (франц. roularde) — ценимая гастрономами молодая откормленная курица.

«Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!»

Панама (франц. panama) — летняя мужская соломенная шляпа с полями.

ВОЕННО-МОРСКАЯ ЛЮБОВЬ

Написано летом 1915 года и напечатано в «Новом Сатириконе». «Военно-морская любовь» принадлежит к числу шуточных, юмористических стихотворений Маяковского. Оно основано на игре рифмами, производными от одного корня (миноносец, миноносия и т. д.). Однако и в этом стихотворении есть замаскированный выпад против империалистической войны:

«И чего это несносен нам
мир в семействе миноносияном?»

МОЕ К ЭТОМУ ОТНОШЕНИЕ

Написано в сентябре 1915 года.

«...лежит себе сыт, как Сытин».

Сытин И. Д. — владелец одного из крупнейших в дореволюционной России издательств.

«Сравнить если с ним, то худ и Апухтин».

Апухтин А. (1841—1893) — поэт; отличался чрезмерной тучностью.

«...будто у него на роже спектакль-гала
затеяла трушна малороссов».

Спектакль-гала (франц. gala) — парадный, торжественный спектакль.

Написано, вероятно, в 1916 году.

Тема стихотворения Маяковского связана с поэмой Пушкина «Медный всадник». Медным всадником Пушкин назвал памятник Петру I, отлитый из меди скульптором Фальконетом и поставленный в Петербурге в 1782 году на площади около здания Сената. В своей «сказке» Маяковский говорит о том, что образ Петра — гениального создателя Петербурга — совершенно чужд буржуазной петербургской толпе, занятой своими мелочными заботами и пошлыми развлечениями («Из низших и евших не обернулся ни один»).

Этим объясняется образ Петра — «узника, закованного в собственном городе».

«Запирую на просторе я!»

Петр Великий в поэме Пушкина «Медный всадник» думает о том времени, когда на берегу Невы будет выстроена новая столица:

«...Все флаги в гости будут к нам
И запируем на просторе».

«...а рядом
под пьяные клики
строится гостиница «Астория».

«Астория» — гостиница в Ленинграде.

«Трое медных
слазят
тихо,
чтоб не спугнуть Сенат».

Трое медных — Петр, его конь и змея, которая извивается под занесенными копытами коня.

«...по карточке
спросили grenadin».

Гренадин — прохладительный напиток, который пьют через соломинку.

НАШ МАРШ


Написано в феврале 1918 года. Это стихотворение — первый образец революционного стихотворного марша. Жанр стихотворного марша, созданный Маяковским, внес в русскую поэзию новые ритмы, основанные на столкновении ударных односложных слов («Дней бык пет»).

«Радуга, дай дуг
лет быстролётным коням».

Во многих изданиях эти строки печатались с занятой после слова «дуг», что искажало не только синтаксис, но и смысл образа. Получа-



«Жирафы». Рисунок Маяковского (1913).



лось ошибочное чтение: «Радуга, дай дуг, лёт быстро...»
Правильное чтение (при прозаической расстановке слов): «Радуга, дай дуг,
дуг быстро...»

ХОРОШЕЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛОШАДЯМ

Написано летом 1918 года и напечатано в газете «Новая жизнь» (№ 8, М., 1918), выходявшей под редакцией А. М. Горького.

«...за зевакой зевака,
штаны пришедшие Кузнецким клёшить...»

Клёшить — новообразованный глагол от слова «клёш» (франц. cloche — колокол). Клёш — модный в то время фасон брюк (первоначально — форма брюк, принятая во флоте).

ОДА РЕВОЛЮЦИИ

Написано к первой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции — в ноябре 1918 года.

«А завтра
Блаженный
строила соборы
тщетно возносит, пощаду моля...»

Блаженный — собор Василия Блаженного в Москве на Красной площади.

В этом четверостишии Маяковский говорит о бомбардировке Кремля во время революционных событий в Москве.

«Слава»
хрипит в предсмертном рейсе».

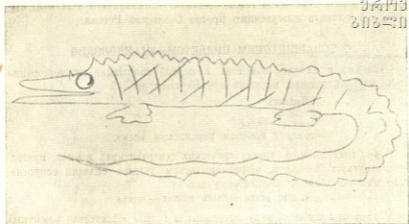
Революционная организация балтийских моряков в 1917 году затопила несколько военных судов, в том числе и крейсер «Слава», для того чтобы они не попали в руки врагов революции.

«Прикладами гонить седых адмиралов
вниз головой
с моста в Гельсингфорсе».

В сентябре 1917 года в Гельсингфорсе восставшие матросы расправились с офицерами — приверженцами белогвардейского генерала Корнилова и с командирами броненосца «Петропавловск».

ПРИКАЗ ПО АРМИИ ИСКУССТВА

Написано в конце 1918 года и напечатано в первом номере газеты «Искусство коммуны», организованной Маяковским и его соратниками — художниками и искусствоведами при отделе изобразительных искусств Наркомпроса.



«Крокодил». Рисунок Маяковского (1913).

Это стихотворение представляет собой призыв к деятелям искусства стать на службу революции.

ЛЕВЫЙ МАРШ

В декабре 1918 года Маяковского пригласили для выступления матросы бывшего Гвардейского экипажа в Петрограде. Готовясь к этому выступлению, Маяковский написал «Левый марш» и посвятил его матросам.

«Левый марш» — одно из самых известных стихотворений Маяковского первых лет революции: он переведен на ряд европейских и восточных языков и на многие языки национальностей СССР (см. стихотворение «Казань»).

«Словесной не место кляузе».

Кляуза (лат. *clausula* — оговорка) — сплетня, донос. У Маяковского применено в смысле «бесцельная болтовня».

«...вздывает британский лев вой».

На гербе Великобритании изображены лев и единорог. В первые годы Октябрьской революции Великобритания входила в коалицию интервентов, выступавших против Советской республики.

«...стальной изливаются леевой...»

Леева — новое слово, образованное от глагола «лить».

«России не быть под Антантой».

Антанта (франц. *entente* — соглашение) — название союза государств

во время войны 1914—1918 годов. Антанта, возглавляемая Англией, захотела осуществить интервенцию против Советской России.

С ТОВАРИЩЕСКИМ ПРИВЕТОМ — МАЯКОВСКИЙ

Написано в начале 1919 года к первой годовщине существования отдела изобразительных искусств при Наркомпросе.

«Дрались
некогда
греков триста
сразу с войском персидским всем».

В 480 году до н. э. триста греческих (спартанских) воинов; предводительствуемых Леонидом, в Фермонильском ущелье оказали сопротивление многочисленному персидскому войску.

«...нас всего — быть может — семь».

Маяковский имеет в виду сотрудников газеты «Искусство коммуны» (Маяковский, О. М. Брик, Н. Н. Пунина, Н. И. Альтман, Д. П. Штеренберг и др.).

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ, БЫВШЕЕ С ВЛАДИМИРОМ МАЯКОВСКИМ ЛЕТОМ НА ДАЧЕ

Написано в 1920 году. Маяковский часто проводил летние месяцы в подмосковном селе Пушкино (ныне город Пушкино).

«...а тут — не знай ни зим, ни лет,
сиди, рисуя плакаты!
.....
Про то,
про это говорю,
что-де заела Роста...»

В эти годы (1919—1921) Маяковский активно работал в Роста (Росийское телеграфное агентство). В своей автобиографии в разделе «19 год» Маяковский пишет: «Пошел в агитацию Роста» и дальше (в разделе «20 год»): «Дни и ночи Роста. Наступают всяческие Деникины. Пишу и рисую. Сделал тысячи три плакатов и тысяч шесть подписей».

В предисловии к сборнику избранных стихов Роста «Грозный смех» Маяковский писал:

«Как можно было столько сделать. Вспоминаю — отдыха не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии выдающая дымом глаза буржуйка) мастерской Роста».

Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности ложился спать на полено вместо подушки, с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, проспав ровно столько, сколько необходимо, вновь вскочишь работать снова.

ОБЛАКО

В

ШТАНАХ.

Обложка первого издания поэмы «Облако в штанах» (1915).

От нас требовалась машинная быстрота — бывало телеграфное известие о фронтовой победе через 40 минут уже висело на сочным плакатом».



ГЕЙНЕОБРАЗНОЕ. ОТНОШЕНИЕ К БАРЫШНЕ

Эти два небольших стихотворения написаны летом 1920 года.

Заглавие «Гейнеобразное» объясняется тем, что по своей сжатости и неожиданному заключению стихотворение близко к иронической лирике Гейне.

РАССКАЗ ПРО ТО, КАК КУМА О ВРАНГЕЛЕ ТОЛКОВАЛА БЕЗ ВСЯКОГО УМА

Стихотворение написано весной 1920 года во время гражданской войны, когда белая армия, предводительствуемая генералом Врангелем и поддержанная интервентами, захватила Крым. Это агитационное стихотворение разоблачает обывательские слухи и слухи.

«...флаг
на Ай-Петри».

Ай-Петри — гора в Крыму (1229 метров над уровнем моря).
Метрдотель (франц. maître d'hôtel) — распорядитель официантами в ресторане.

ИСТОРИЯ ПРО БУБЛИКИ И ПРО БАБУ, НЕ ПРИЗНАЮЩЮЮ РЕСПУБЛИКИ

Один из образцов агитационных стихов Маяковского, которые он писал для «Окон Роста». Написано в 1920 году, во время войны Советской России с Польшей.

КРАСНЫЙ ЕЖ

Написано весной 1920 года для плакатов Роста.

ВЛАДИМИР ИЛЬЧИ!

Написано в апреле 1920 года ко дню пятидесятилетия Владимира Ильича Ленина.

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Написано весной 1921 года в связи с разгромом Врангеля после боев у Перекопа.

О ДРЯНИ

Написано летом 1921 года.

Стихотворение направлено против неизжитых проявлений дореволюционного обывательского быта.



Давид Бурлюк. Рисунок Маяковского (1915).

СТИХОТВОРЕНИЕ О МЯСНИЦКОЙ, О БАБЕ И О ВСЕРОССИЙСКОМ
МАСШТАБЕ

Написано в 1921 году.

Мясницкая — улица в Москве (ныне улица Кирова).

«...до Вашингтона кабель».

Вашингтон — столица Североамериканских соединенных штатов.

«С вещами
на Ярославский...»

Ярославский — вокзал в Москве (Северная ж. д.).

«Правдив и свободен мой вещий язык
и с волей советскою дружен...» —

народийная перефразировка строк из «Песни о вещем Олеге» Пушкина:

«Правдив и свободен мой вещий язык
И с волей небесною дружен».

ПРИКАЗ № 2 АРМИИ ИСКУССТВ

Написано в 1921 году.

«...ариями Ромео и Джульетт».

«Ромео и Джульетта» — опера Гуно на сюжет пьесы Шекспира.

«Это вам —
пентры,
раздобревшие, как кони...»

Пентры — ироническое словообразование от французского слова *peintre* — живописец.

«Футуристки,
имажинистки,
акменистки...»

Футуристы, имажинисты, акменисты — представители различных направлений в поэзии того времени.

«...пролеткультцы,
кладущие заплатки
на вылинявший пушкинский фрак».

Пролеткультцы — члены литературной группировки «Пролеткульт» («Пролетарская культура»); пытались имитировать образцы классического стиха.

«...и работающий в Росте...» —

см. примечание к стихотворению «Необычайное приключение...»

ПРОЗАСЕДАВШИЕСЯ

Это стихотворение, первое из напечатанных Маяковским в «Известиях» (от 5 марта 1922 года), обратило на себя внимание В. И. Ленина.



Велимир Хлебников. Рисунок Маяковского (1916).

В своей речи на заседании Всероссийского съезда 6 марта Владимир Ильич сказал:

«Вчера я случайно прочел в «Известиях» стихотворение Маяковского на политическую тему... Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно» (Собр. соч., т. XXVII, стр. 177).

«...кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет...»

Здесь Маяковский комически рассекает на части сокращенные слова, обозначающие два учреждения.

Главком, или главк, — главный комитет; например, Главхлопком — Главный комитет по хлопководству.

Политпросвет — политико-просветительный отдел Наркомпроса.

«Объединение Тео и Гукона».

Тео — театральный отдел Наркомпроса.

Гукон — Главное управление коннозаводства при Наркомземе.

ПАРИЖ (РАЗГОВОРЧИКИ С ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНЕЙ)

Написано вскоре после первой поездки Маяковского в Париж, в конце 1922 года.

Эйфелева башня — стальная башня высотой в 300 метров, выстроенная по проекту французского инженера Эйфеля в Париже к открытию Всемирной выставки 1889 года. Эйфелева башня — самое высокое здание в Европе. В настоящее время на Эйфелевой башне установлены радиостанция и световая реклама.

«...вокруг меня
из зверорыбьих морд —
еще с Людовиков —
свистит вода, фонтанясь».

Маяковский говорит об украшенных скульптурными изображениями фонтанах времен французских королей XVII — XVIII веков.

«Я выхожу
на Place de la Concorde».

Place de la Concorde (франц.) — площадь Согласия в Париже.

«Луна — гильотинная жуть».

Гильотина — машина для отсечения головы, введенная по предложению доктора Гильотена во время Французской революции.

«...таять от аполлинеровских вирш».

Вирши (польск. wiersz) — стихи. В русском языке с XIX века слово «вирши» приобрело ироническое значение.

Аполлинер Гийом (1880—1918) — знаменитый французский прозаик и критик.

«На помощь придет рив-гош».

Рив-гош — левый берег, демократическая часть Парижа. (Примечание Маяковского.)

«...пойдут
Монмартрами на ночи продаваться».

Монмартр — квартал в Париже, населенный молодыми художниками, студентами и др. На Монмартре много увеселительных заведений.

«...кончается один, в силовую складбищась Лувр,
в старье лесов Булонских и музеев».

Лувр — старинный дворец в Париже, музей живописи и скульптуры. Булонский лес — парк в Париже. (Примечание Маяковского.)

МЫ НЕ ВЕРИМ!

Написано в феврале 1923 года.

Стихотворение вызвано опубликованием бюллетеня о состоянии здоровья В. И. Ленина. С 9 марта, когда здоровье Владимира Ильича ухудшилось, бюллетени стали выходить ежедневно.

ВЕСЕННИЙ ВОПРОС

Написано в апреле 1923 года.

«Ну, скажем,
могу
доказать:
«самогона — большое зло».

Маяковский имеет в виду свою агитпоэму «Вон самогона», изданную в том же году.

ВОРОВСКИЙ

Написано в мае 1923 года и напечатано под заглавием «Сегодня» в газете «Известия» от 20 мая (№ 110, 1923).

Воровский В. В. — полпред СССР в Риме; был убит в Лозанне (Швейцария) 9 мая 1923 года белогвардейцем Коиради.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Написано в марте 1924 года в связи со смертью Владимира Ильича Ленина.

Написано весной 1924 года к столетияпултителитию сс дия релдвения
Пушкина.

В форме фамилярно-шутливой беседы с Пушкиным Маяковский говорит о качествах, которые должен иметь поэт, о связи поэзии с эпохой и о своем отношении к Пушкину.

Долгое время существовала обывательская легенда о том, что Маяковский отрицал значение Пушкина. Внешним поводом к возникновению этой легенды была фраза из манифеста поэтов-футуристов в сборнике «Пощечина общественному вкусу» (1912) о том, что надо бросить Пушкина и других классиков с «парохода современности». Эта фраза объясняется условиями литературной борьбы того времени: буржуазные критики противопоставляли молодой поэзии творчество Пушкина и других давно признанных поэтов.

Уже в то время, в 1914 году, Маяковский защищал подлинного Пушкина — «веселого хозяина на великом празднике бракосочетания слов» — от того хрестоматийного, упрощенного и обескровленного Пушкина, в которого он был превращен стараниями официальных историков литературы.

В 1918 году на диспуте о пролетарском искусстве Маяковский заявил, что он готов «возложить хризантемы на могилу Пушкина», а на другом диспуте говорил о своей любви к Пушкину.

Шесть лет спустя, 26 мая 1924 года, выступая на диспуте о задачах литературы в драматургии, Маяковский сказал:

«Вот Анатолий Васильевич (Луначарский) упрекает в неуважении к предкам, а я месяц тому назад, во время работы, когда Брик начал читать «Евгения Онегина», которого я знаю наизусть, не мог оторваться и слушал до конца и два дня ходил под обаянием четверостишья:

Я знаю, жребий мой измерен,
Но чтоб продлилась жизнь моя,
Я утром должен быть уверен,
Что с вами днем увижусь я.

Конечно, мы будем сотни раз возвращаться к таким художественным произведениям, и даже в тот момент, когда смерть будет накладывать нам петлю на шею, тысячи раз; учиться этим максимально добросовестным творческим приемам, которые дают бесконечное удовлетворение и верную формулировку взятой, диктуемой, чувствуемой мысли».

Это замечательное высказывание свидетельствует о том, как глубоко понимал и ценил Маяковский мастерство величайшего русского классика.

Пушкина и Маяковского сближает это «максимально добросовестное» отношение к поэтическому делу, стремление в каждой строке, в каждом образе и эпитете добиться предельного выражения своих мыслей и чувствований. И Пушкин и Маяковский понимали работу над стихом



Василий Каменский. Рисунок Малковсого (1918).



как трудовой процесс, требующий величайшего напряжения всех способностей, знаний и навыков поэта.

Маяковский считал, что гениальный поэт всегда является наиболее ярким выразителем своей эпохи. И в статье 1928 года он писал:

«...Все рабочие и все крестьяне поймут всего Пушкина и поймут его так же, как понимаем мы: прекраснейший, гениальнейший, величайший выразитель поэзии своего времени».

И, наконец, в своем последнем публичном выступлении в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года поэт резко ответил одному оратору, утверждавшему, что Маяковский «прямо целиком уничтожает всех классиков»:

«Никогда я этим глупым делом не занимался. Я только говорю, что нет ударных на все время классиков. Изучайте их, любите в том времени, когда они работали... Если я выступаю против классиков, то отнюдь не за уничтожение, а за изучение, за проработку их, за использование того, что есть в них нужного для дела рабочего класса, но не нужно отношение к ним безоговорочное, как часто встречается у нас».

Так Маяковский подвел итоги своей двадцатилетней борьбы за Пушкина «живого, а не мумию».

«Например
 вот это —
 говорится или блещет?
 Синемордое,
 в оранжевых усах,
 Навуходонсором
 библейцем —
 «Коопсах».

«Коопсах» — сокращенное наименование Кооперации сахарной промышленности. Вывеска магазина «Коопсах» на бывшей Страстной площади, где стоит памятник Пушкину, была синего цвета с оранжевыми лучами, расходящимися в разные стороны.

Навуходонсор — царь Ассиро-Вавилонии, по библейскому сказанию, за грехи был лишен дара слова и обращен в животное.

«...выплывают
 Red и White Star'ⁱⁿ
 с ворохом
 разнообразных виз».


«Red Star» и «White Star» (англ.) — «Красная звезда» и «Белая звезда», названия трансокеанских пароходных компаний.

В 1924 году Маяковский намеревался поехать в Америку, но не получил визы на въезд в США.

«...я сейчас же,
 утром должен быть уверен,
 что с вами днем увижусь я» —



И. Е. Репин. Рисунок Маяковского (1915).



перефразировка строк из «Евгения Онегина», которую Маяковский в своей речи на диспуте о литературе 26 мая 1924 года (см. выше).

«Entre nous...
чтоб цензор не нацикал.
Entre nous (франц.) — между нами.

«Дорогойченко,
Герасимов,
Кириллов,
Родов —
какой одноробразный пейзаж!»

Здесь перечислены фамилии участников литературной группировки «Кузница».

Одноробразный я — каламбур, соединяющий значения слов: одноробразный и Наробраз (Отдел народного образования).

«Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровую
в перчатках лаечных».

Этот полемический выпад Маяковского объясняется тем, что Есенин говорил о себе в поэме «Сорокоуст»: «...А теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках», и в то же время воспевал в стихах «запах навоза с родных полей» и корову, противопоставляя их «железному гостю» — паровозу.

В статье «Как делать стихи» Маяковский писал:

«Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,
Я — большевик..

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник.

Мужиковствующих свора — поэты, объединившиеся вокруг Есенина и называвшие себя крестьянскими поэтами.

«Я дал бы вам
жиркость
и сукна,
в рекламу б
выдал
гумских дам».

«Жиркость», сокращенно Тэжэ, — трест жировой промышленности, изготавливающий парфюмерию.

Суква — трест Моссуко.

Гум — Государственный универсальный магазин.

В этих строках Маяковский говорит о реклам-стихах, которые он делал для перечисленных учреждений.

«Вот арап!

А состязается — с Державинным...» —

образец каламбура в стихах Маяковского. В одном слове сталкиваются два значения: старинное «арап» — негр («Арап Петра Великого» у Пушкина) и новое «арап» — мошенник, пройдоха (общеупотребительное в разговорном языке).

«Сукин сын Дантес!

Великосветский шкода».

Маяковский в статье «Как делать стихи» рассказал, как внезапно возникло это определение убийцы Пушкина: «Сукин сын Дантес» (в поезде около Мытищ, 1924 г.).

Шкода — южное, областное: вред, убыток, ущерб (польск. szkoda). Ср. наносить — напакостить, причинить вред.

«Так сказать,

невольник чести...

пулею сражен...»

Эта строка связана с первой строкой знаменитого стихотворения Лермонтова «Смерть поэта», написанного под впечатлением смерти Пушкина:

«Погиб поэт! — невольник чести...»

СЕВАСТОПОЛЬ — ЯЛТА

Написано в июне 1924 года во время поездки Маяковского в Крым, Грузию и Азербайджан.

«У этих

у самых

гроздьев пашлы...»

Шахла — сорт крымского винограда.

«Который москит

и который мускат...»

Москит (исп. mosquito) — мелкий комар, встречающийся в Крыму. Укусы москитов очень болезненны.

Мускат — сорт винограда и название сладкого крымского вина, приготовляемого из этого винограда.



«Так разом
встают облака и залив
в разрыве Байдарских ворот».

Байдарские ворота — перевал, с которого открывается вид на крымское побережье и море.

ВЛАДИКАВКАЗ — ТИФЛИС

Написано в июле 1924 года во время пребывания Маяковского на Кавказе.

Архалух (иначе архалук, бешмет) — грузинская мужская одежда: шерстяной или шелковый кафтан, стянутый в талии.

«Уже
подо мной такой карабах,
что Ройльсу —
и то б в похвалу».

Карабах — ценная порода горных верховых лошадей из Карабахской области (Азербайджан).

Ройльс (правильно: Роллс Ройс — Rolls-Royce) — быстроходный и комфортабельный автомобиль известной английской фирмы.

«...я землю
прошел и возделал мушбóя...»
Мушбó (груз.) — рабочий.

«Ираклии,
Нины,
Давиды».

Ираклии, Нины, Давиды — имена грузинских царей и цариц.

«...я помню:
я вел Руставели Шóтой
с царицей
с Тамарою
шашни».

Шота Руставели — великий грузинский поэт, живший в XIII веке при дворе царицы Тамары. Написал поэму «Витязь в тигровой шкуре».

«...на саки,
звеня,
опускались войска
золотоногшиков русских».



Общий вид села Багдади.

Маяковский имеет в виду завоевательную политику царского правительства на Кавказе.

«Мхолот шен эрте
рац, ром чემтвис
Моуცია
маглидგან გმერტს...» —

«Тебе одной все, что дано мне с высоты богом» (из грузинской народной песни). Автор текста — Шалва Дадияни.

«...я метитель Арсен...»
Арсен Джорджиашвили — грузинский революционер, убивший начальника карательных экспедиций царского генерала Грязнова и казненный по приговору военно-полевого суда.

«...опять вспоминаю
все синяки
от плеток
всех Алихановых».

Алиханов — генерал, командир карательного отряда в Грузии в 1906 году. Убит в 1907 году грузинскими революционерами.

«Какие-то люди,
мутней, чем Кура,
французов чмокают в ручку».

Маяковский говорит о контрреволюционном меньшевистском правительстве Грузии, пользовавшемся поддержкой французских интервентов в период гражданской войны и свержнутом 21 февраля 1921 года.

«...ведь мы еще
только мадчари».

М а д ч а р и (груз.) — непребродившее, молодое вино.

«Грузин я,
но не кинто озорной...»

К и н т о (груз.) — завсегдатай грузинских духанов, балагур и шутник.

«Я жду,
чтоб гудки
взрвели зурной...»

З у р н а (груз.) — народный кавказский музыкальный инструмент, свирель с семью отверстиями. Звук зурны отличается резким тоном.

«...лебедок
и кранов шапри».

Ш а и р и (груз.) — форма грузинского народного стиха.

ТАМАРА И ДЕМОН

Написано летом 1924 года во время пребывания Маяковского на Кавказе. В сюжет стихотворения введены герои поэмы Лермонтова «Демон».

«Поди
подчини ее
преду искусств —
Петру Семенычу
Когану».

К о г а н П. С. — критик, был президентом Государственной академии художественных наук в Москве.

«Мне место
не в «Красных нивах»,
а здесь...»

«Красная нива» — литературный еженедельник; выходил в Москве в течение 1922—1926 годов.

«...про это
пишет себе
Пастернак».

В книге Бориса Пастернака «Сестра моя жизнь» (М., 1922), посвященной Лермонтову, есть стихотворение «Памяти Демона».

БАКУ

Написано в июле 1924 года во время пребывания Маяковского в Азербайджане.

«Полыхание Балахан».

Балахань — нефтяные промыслы вблизи Баку.

Дервиш (перс.) — нищенствующий монах на Востоке, паломник ко святым местам.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Поэма для детей, написанная в 1925 году.

ПРОЩАНИЕ

Написано осенью 1924 года.

в МОНАХИИ

Написано во время поездки в Америку на борту парохода «Эспань» в июне 1925 года.

В очерках «Мое открытие Америки» Маяковский писал:

«Пароход «Эспань». 14 000 тонн... Три класса, две трубы, одно кино, кафе-столовая, библиотека, концертный зал и газета. Классы самые настоящие. В первом — кушцы, тузы искусства и монашенки.

«Пусть заполнится годами
жизни квота...»

Квота — норма впуска эмигрантов в Америку. (Примечание Маяковского.)

«...медали
со Львом
и с Пием».

Лев и Пий — имена римских пап (католических первосвященников) XX века.

БЛЭК ЭНД УАЙТ

5 июля 1925 года Маяковский приехал в Гаванну (столица острова Куба) и здесь написал стихотворение «Блэк энд уайт».

Black and white (англ.) — черный и белый.

«Под пальмой
на ножке
стоит фламинго».

Фламинго — тропическая птица из рода цапель, белая с яркими подкрыльями.

«Цветет
колларио
по всей Ведадо».

Колларно — гаванские цветы.

Ведадо — загородный квартал богачей. (Примечания Маяковского)

«Поэтому
Вилли
стоит со щеткой
у «Эри Клей энд Бок, лимитед».

См. описание Гаванны в книге Маяковского «Мое открытие Америки»: «А в центре богатств — американский клуб, десятиэтажный Форд, Клей и Бок».

Лимитед (англ. limited company) — акционерное общество с ограниченной ответственностью.

«Рядом
шла
нарядная Прадо».

Прадо — главная улица Гаванны. (Примечание Маяковского.)

«Ай бэг ёр вардон, мистер Брэгг!» —

«I beg your pardon, Mr. Bragg!» (англ.) — «Прошу извинить меня, мистер Брэгг!»

ТРОПИКИ

Написано в 1925 году в результате поездки Маяковского в Мексику и Соединенные штаты Америки.

Вера-Круц (исп. Vega Cruz) — главный порт Мексики на берегу Атлантического океана.

Мехико-Сити (англ. Mexico City) — столица Мексики.

«...а видом шантеклеры».

Шантеклер (франц. chante-clair) — сказочный петух с радужным оперением.

МЕКСИКА

Написано в Мехико-Сити в июле 1925 года.

«...и встает
живьем
страна Фениамора
Купера
и Майи-Рида».

«Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майи-Риду», писал Маяковский в очерках «Мое открытие Америки».

«И берет
набитый
«Лефом»
чемодан
Монтигомо
Ястребинный Коготь».

«Леф» — журнал, выходивший в 1923—1924 годах под редакцией
Маяковского.

Монтигомо Ястребиный Коготь — имя индейца, заимствованное
Маяковским из рассказа Чехова «Мальчики».

«Нету краснокожих — истребили гачуниим с гринго».

Маяковский так объясняет эти слова:

«Гачуниим» — добродушно-презрительное название (время стерло
алобу) первых завоевателей Мексики — испанцев.

«Гринго» — кличка американцам, высшее ругательство в стране».

В очерках «Мое открытие Америки» Маяковский комментирует про-
исхождение слова «гринго»: «Когда врывались в Мексику американ-
ские войска, они пели:

Грин го
ди рошес оф..

(старая солдатская песня, а по первым слогам сократилось ругатель-
ство). Слово «гачуниим» происходит от испанского слова gacho — свинья.
Green go (англ.) — «Зеленые идут».
The rushes (англ.) — атаки, штурмы.

«...кабаками
добывает кactusовый «пульке»
но 12 сантимов».

«Кactusовый «пульке» — полуводка, полуниво — это все, что оста-
лось от древней и ацтекской Мексики». (Из очерка Маяковского.)

«Огрызнулся
и пошел, сомбреро нахлобучив
вместо радуги
из перьев птицы Кэтцаль».

«Как не похожи носильщики-индейцы на героев Купера, легендар-
ных (только на мексиканских плакатах оставшихся) краснокожих, го-
рящих перьями древней птицы — Кэтцаль, птицы-огонь!» (Из очерка
Маяковского.)

Сомбреро (исп. sombrero) — широкополая шляпа.

«Здесь
из змби озера вставал Пуэбло,
дом-коммуна в десять тысяч комнат».

«От старого восьмисотлетнего Мехико, — когда все это пространство,
занимаемое городом, было озеро, обнесенное вулканами, и только на

островочке стояло Пуэбло, своеобразный город дом-коммуна (остатки ацтекского города не осталось и следа). (Из очерка Маяковского «Жадна»)

«Жадна
у белого
Изабелла,
жена
короля Фердинанда».

Фердинанд V (1452—1516) — король Испании. В его царствование была открыта Америка, и вскоре началось вторжение испанцев в Мексику и разрушение древней культуры индейцев (ацтеков и майя).

«Сквозь пальмы,
сквозь кактусы лез
по этой дороге
из Вера-Круц
генерал
Эриандо Кортес».

«Вера-Круц — порт Мексики. Сюда подплывали открыватели Америки, отсюда в 1515 году напали на Мексику испанские завоеватели — войска генерала Кортеса. От этих маисовых полей к столице поднимаются восстания революционных крестьян — в эту гавань вылез и я». (Из очерка Маяковского.)

«Как мышь на сало,
прельстясь на титулы,
своих
Монтецума предал».

Последний правитель Мексики Монтецума (1480—1520) (у Маяковского — Монтецума) был захвачен испанцами, которые стали действовать его именем.

«Под пытками
умер Гватемок».

Предводитель непокорных ацтеков (племянник Монтецумы) Гватемок, или Гватемозин, был взят в плен испанцами и после пыток казнен в 1521 году.

«Что братьям его,
рабам,
чехарда
всех этих Хуэрт
и Диэцов?..»

«Потом чехарда правительства. За 30 лет — 37 президентов — Гваделуны, Хуэрты, Диэцы». (Из очерка Маяковского.)

«...а у мексиканцев
«Смит и Вессон».

«Смит и Вессон» — система револьвера.

«...кружат дочки
по Чапультанеку».

Чапультанек — сад в Мехико. (Примечание Маяковского.)

«...роднящий крик:
«Камарадо!»

Камарадо (исп. camarado) — товарищ.

«Встают
взамен одного Запаты
Гальваны,
Морено,
Карио.

Скорей
над мексиканским арбузом,
багровое знамя, взметись!»

«Через расстрелянного вождя крестьянской революции Запату к коммунисту-депутату Вера-Круц (недавно убитому президентскими бандами) Морено — один путь, одна линия борцов за свободу и жизнь мексиканских рабочих и крестьян.

Морено вписал в мою книжку, прослушав «Левый марш» (к страшному сожалению, эти листки пропали по «независящим» обстоятельствам на американской границе):

«Передайте русским рабочим и крестьянам, что пока мы еще только слушаем ваши марши, но будет день, когда за вашим маузером загремит и наше «33» (калибр Кольта).

Морено убили.

Но товарищи, стоящие рядом, — Гальван, делегат Крестинтерна, Карио, секретарь партии, Монсон и др. твердо верят и знают, что над мексиканским арбузом (зеленое, белое и красное знамя Мексики; введено, по преданию, отрядом, отдыхавшим после сражения, прельщенным цветами поймаемого ими арбуза) взметнется красное знамя первой коммунистической революции Америки». (Из очерка Маяковского.)

«...ацтек,
креол
и метис!»

Ацтеки — индейское племя, живущее в Мексике.

Креолы (франц. créole) — потомки испанских, французских и португальских колонистов в Центральной и Южной Америке.

Метисы (франц. métis) — жители Америки, родившиеся от смешанных браков европейцев с индейцами.

БРОДВЕЙ

Написано летом 1925 года во время пребывания Маяковского в Нью-Йорке.

Бродвей (англ. Broadway) — одна из центральных улиц в Нью-Йорке.

«На север
 с юга
 идут авеню,
 на запад с востока —
 стриты».

Авеню (англ. avenue) и стрит (англ. street) — проспекты и улицы.

«Янки
 подошвами шлепать
 ленив...»

Янки — шуточное прозвище американцев (по начальным словам песни «Yankee-Doodle»).

«И лишь замедляют
 жевать чунингам...»

Чунингам (англ. chewing gum) — распространенная в Америке освежающая жевательная резинка.

«...чтоб бросить:
 «Мек моней!»

«Мек моней?» (англ. «Make money?» — «Делаешь деньги?») — своеобразное американское приветствие.

Ср. в очерке Маяковского «Мое открытие Америки»:

«При встрече американец не скажет вам безразличное:

— Доброе утро.

Он сочувственно крикнет:

— Мек моней? (Делаешь деньги?) — и пройдет дальше».

«...занят
 серьезным
 бизнесом».

Бизнес (англ. business) — дело, занятие.

«Хочешь под землю —
 бери собвей,
 на небо —
 бери элевейтор».

Собвей (англ. subway) — метро в Нью-Йорке.

Элевейтор (англ. elevator) — надземная железная дорога в Нью-Йорке.

«...и вынесут
 хвост
 на Бруклинский мост.
 и спрячут
 в норы
 под Гудзон».



Маяковский. Фото А. Родченко (1924).

Огромный подвесной Бруклинский мост перекинут от острова Манхэттен (центр Нью-Йорка) до материка (Бруклин). Гудзон (англ. Hudson) — река в Нью-Йорке.

«Кофе Максвелл
гут
ту ди ласт друп» —

«Coffee Maxwell good to the last drop» (англ.) — реклама кофе: «Кофе Максвелл хорош до последней капли».

«Гау ду ю ду!»

«Гау ду ю ду?» (англ. «How do you do?») — «Как поживаете?»

БРУКЛИНСКИЙ МОСТ

Написано летом 1925 года во время пребывания Маяковского в Нью-Йорке.

«...и разъяняйтед стетс
оф
Америка» —

комическое усиление слов «Юнайтед стетс оф Америка» (англ. United states of America) — Соединенные штаты Америки.

ДОМОЙ!

Написано после возвращения Маяковского из-за границы (1925—1926).

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Написано в начале 1926 года, вскоре после смерти поэта Сергея Есенина. Напечатано в газете «Заря Востока» (Тбилиси, 16/IV 1926) и вскоре же было перепечатано одновременно в нескольких газетах и журналах, а затем вышло и отдельным изданием (Тбилиси, 1926).

В статье «Как делать стихи» Маяковский говорит: «Наиболее действенным из моих стихов я считаю «Сергею Есенину», и подробно рассказывает о том, как он задумал написать это стихотворение и как он над ним работал.

«Ни тебе аванса,
ни пивной.
Трезвость».

В статье «Как делать стихи» Маяковский пишет о Есенине: «Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне чело-

века, с опухшим лицом, со свороченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь...»

«Вижу —
врезанной рукой помещика,
собственных
костей
качаете мешок».

Есенин покончил жизнь самоубийством 27 декабря 1925 года в Ленинграде в гостинице «Англетер»: он взрезал вены на руке и повесился.

«Дескать,
к вам приставить бы
кого из напостов...»

Напосты — сотрудники журнала «На посту», полемизировавшие с Маяковским и его литературными соратниками.

«...утомительно
и длинно,
как Дорониин».

Дорониин И. — автор поэмы «Тракторный пахарь», о которой Маяковский говорит в статье «Как делать стихи»: «4000 строк Дорониина поражают однообразием 16 тысяч раз виденного словесного и рифменного пейзажа».

«Может,
окажись
чернила в «Англетере»,
вены
резать
не было б причин».

Предемертное стихотворение Есенин написал кровью из вскрытой вены.

«Вам
и памятник еще не слит, —
где он,
бронзы звон
или гранита грань? —
а к решеткам памяти
уже
понанесли
посвящений
и воспоминаний дрянь».

Этот образ основан на следующем месте из комедии Гоголя «Ревизор» (действие I, явление 5-е, слова Городничего): «Что это за скверный город: только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, чорт их знает откуда и нанесут всякой дряни!»

социальным, циничное предположение, что неквалифицированный читатель сожрет все, и т. д. Ощущению квалификации посвящено мое последнее стихотворение последних недель — «Разговор с Фининспектором поэзия».

«...и двадцать пять
за неподачу деклараций».

Декларация — заявление о доходах за год, которое подавали «лица свободных профессий» (писатели, художники и др.) Фининспектору. Лампа тридцать два — не имеющий смыслового значения припев распространенных в то время уличных кушетов. Венецуэла — республика в Южной Америке.

«...чтобы
добыть
драгоценное слово
из артезианских
людских глубин».

Артезианский колодец — глубокий буровой колодец, из которого бьет вверх глубинная вода, находящаяся под сильным давлением. Название происходит от французской провинции Артуа.

«...а что,
если я
загнал
за последние
десяток пегасов
15 лет?!»

Пегас — в греческой мифологии крылатый конь, под ударом копыта которого забил источник Иокрепа, вдохновляющий поэтов. В европейской литературе Пегас стал иносказательным образом поэтического вдохновения.

«...амортизация
сердца и души».

А м о р т и з а ц и я — изнашивание (технический термин).

«Я
в долгу
перед Бродвейской лампочкой...»

О Бродвее Маяковский писал:

«Свет фонарей для света, свет бегающих лампочками реклам, свет зарев витрин и окон никогда не закрывающихся магазинов, свет ламп, освещающих огромные малеванные плакаты, свет, вырывающийся из открывающихся дверей кино и театров, несущийся свет авто и элеваторов, мелькающих под ногами в стеклянных окнах тротуаров, свет подземных поездов, свет рекламных надписей в небе. Свет, свет и свет». (Из книги Маяковского «Мое открытие Америки».)

«...перед вами,
багдадские небеса...»

Маяковский говорит здесь о селе Багдади б. Кутанской губернии, где он родился.

«...то вот вам,
товарищи,
мое стило...»

Стило — сокращенное слово от англ. *stylograph* — перо-карандаш, самопишущая ручка.

ТОВАРИЦУ НЕТТЕ, ПАРОХОДУ И ЧЕЛОВЕКУ

Написано 15 июля 1926 года в Ялте, где Маяковский увидел пароход, названный именем Теодора Нетте.

Теодор Нетте — советский дипломатический курьер; героически погиб 5 февраля 1926 года в поезде на территории Латвии, защищая дипломатическую почту от налета контрразведчиков. В официальном сообщении, помещенном в «Правде», даны подробности смерти Нетте:

«Пройдя не останавливаясь до четвертого купе, занятого дипломатическими курьерами, нападавшие открыли дверь и, крикнув: «Руки вверх!», выстрелили в сидевшего на нижней полке курьера Махмастая. Тогда лежавший на верхней полке курьер Нетте выстрелом в голову тяжело ранил одного из нападавших. Последний, падая, выстрелил и ранил в руку курьера Махмастая; другой нападавший убил нановал Нетте, тело которого упало с верхней полки».

Маяковский познакомился и встретился с Нетте во время своих заграничных поездок.

«...напролет
болтал о Ромке Якобсоне...»

Роман Якобсон — лингвист и теоретик стиха, друг Маяковского и исследователь его творчества.

РАЗГОВОР НА ОДЕССКОМ РЕЙДЕ ДВУХ ДЕСАНТНЫХ СУДОВ: «СОВЕТСКИЙ ДАГЕСТАН» И «КРАСНАЯ АБХАЗИЯ»

Написано летом 1926 года в Одессе.

НАШЕМУ ЮНОШЕСТВУ

Написано в начале 1927 года в результате поездки Маяковского по СССР с докладами и чтением стихов.

«...рванулся
курьерский
с Курского!»

Курский — Курский вокзал в Москве.

«...как будто слушаешь МХАТ...»

МХАТ — Московский Художественный Академический театр

«...блестит

позументом кубанки».

Кубанка — шапка кубанских казаков.

«Ну, мало ли что —

Бодлер,

Малларме

и эдакое прочее!»

Бодлер Шарль (1821—1867) — знаменитый французский поэт, автор сборника стихов «Цветы зла».

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт, один из главных представителей поэтического направления — символизма.

«...растить

на смену себе

бульвардые

французистами пижонами!»

Бульвардые (франц. boulevardier, от boulevard — бульвар) — празднующийся по улицам, гуляка.

Пижоны (франц. pigeon — голубь) — ироническое прозвище модничавших молодых людей.

«...другим —

сечевик...»

Сечевик — казак Запорожской Сечи.

«И ваших

и русонетов».

Русонет — разговорное, презрительное прозвище русского, отличающегося шовинистическими, великодержавными взглядами.

КОРОНА И КЕПКА

Написано к десятилетию свержения самодержавия, в феврале 1927 года.

«...а даже —

двуглавый».

На гербе Российской империи был изображен двуглавый орел.

«Мы! мы! мы!

Николай Второй,

двуглавый повелитель

России-тюрьмы

и прочей тартарары,

царь польский,

князь финляндский,

принц эстляндский

и барон курляндский...»

декоративное дерево с крупными душистыми белыми цветами; глициния — вьющееся растение с кистями светлолиловых цветов.

«... и днем
и ночью
на Чаир
вода
бежит, рыча».

Чаир — санаторий на Южном берегу Крыма, известный своим огромным парком.

«...повыброшенных
из дворцов
тритонов и наяд».

Тритоны и наяды — сказочные существа греческой мифологии (водяные и русалки), статуями которых были украшены многие дворцовые парки.

ПИСЬМО К ЛЮБИМОЙ МОЛЧАНОВА, БРОШЕННОЙ ИМ

Написано в сентябре 1927 года по поводу стихотворения И. Молчанова «Свидание».

«На косынку
цвета синьки
смотрит он
и цедит еле...» —

полемика со стихами Молчанова:

«Ты стала слишком некрасивой
в своей косынке
голубой».

«Мы найдем себе другую
в размысканной жакетке» —

пародия на стихи Молчанова:

«Я, милая, люблю другую —
Она красивей и стройней,
И стягивает грудь тугую
Жакет изысканный на ней».

Для пародии Маяковский использовал строку из популярного в до-революционной России романа:

«Мы найдем себе другую красавицу-жену».

«За боль годов» и т. д. — цитата из стихотворения Молчанова.

«...недостроил
и устал,
и уселся
у моста» —



пародия на стихи Молчанова:

«Тот, кто устал, имеет право
У тихой речки отдохнуть».

«...но вы,
Молчанов,
постарели,
вы
и ваши пасторали».

Пастораль (франц. pastorale) — в старинной классической поэзии стихотворение, воспевающее любовь пастуха и пастушки.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О МОЛЧАНОВЕ ИВАНЕ И О ПОЭЗИИ

Написано в 1927 году в связи со стихотворением И. Молчанова «У обрыва», в котором есть такие строки:

«Я шел с барабаном,
Я шел на закат,
И бодрая песня
Будила солдат...
...И песня лилась
На холодный откос.
Запел барабанчик
Про золото кос.
...А может случиться —
Нахлынет туман,
Тревогу былую
Забьет
Барабан».

СОЛДАТЫ ДЗЕРЖИНСКОГО

Написано в декабре 1927 года в связи с десятилетием ВЧК — ОГПУ — НКВД.

«...громше,
чем крымское
землетрясение».
Землетрясение в Крыму было в 1927 году.
«...и крой,
Кро!»

Кро — отдел по борьбе с контрреволюцией.

РАСКАЗ ЛИТЕЙЩИКА ИВАНА КОЗЫРЕВА О ВСЕЛЕНИИ В НОВУЮ КВАРТИРУ

Написано 28 января 1928 года во время пребывания Маяковского в Свердловске.

ЕКАТЕРИНБУРГ — СВЕРДЛОВСК

Написано в январе 1928 года во время поездки Маяковского в Свердловск.

«Под Екатеринбургом
рыли каратики...»

Вблизи Свердловска (б. Екатеринбург) есть копи, где добываются уральские самоцветы.

Каратик — карат, весовая мера драгоценных камней.

«...коронованной Катьки...»

Катька — императрица Екатерина II.

«Пород Пенелеев.
Свириствовал Гайда».

Пенелеев — белогвардейский генерал.

Гайда — генерал, командир чехо-словацких войск в Сибири в 1918—1919 годах.

«...и грудью
топок дышат Тагилам
да трубки
заводов курят в Исети».

Тагил — Тагильский горный завод.

Исегь — Верхне- и Нижне-Исетские заводы вблизи Свердловска.

ДЕСЯТИЛЕТНЯЯ ПЕСНЯ

Стихотворение посвящено десятилетию Рабоче-Крестьянской Красной армии. Напечатано 23 февраля 1928 года в четырех московских и ленинградских газетах: «Рабочая Москва», «Пионерская правда», «Ленинградская правда» и «Смена».

«Десятилетняя песня» написана на мотив известной в годы гражданской войны песни:

«Белая армия, черный барон
Снова готовят нам царский трон.
Но от тайги до британских морей
Красная армия всех сильнее».

КАЗАНЬ

Написано летом 1928 года во время пребывания Маяковского в Казани. Как и все другие произведения Маяковского, это стихотворение основано на действительном событии: национальные поэты читали Маяковскому в Казани свои переводы «Летнего марша».



ТРУС

Написано в июле 1928 года.

ЕВПАТОРИЯ

Написано летом 1928 года во время отдыха Маяковского в Крыму.

«В дым черны
в тибетейках ярких
караимы
евпаторьяки».

К а р а и м ы — народность, живущая в Крымской АССР; отатарившиеся евреи, говорящие на татарском языке.

РАССКАЗ РАБОЧЕГО ПАВЛА КАТУШКИНА О ПРИОБРЕТЕНИИ
ОДНОГО ЧЕМОДАНА

Написано в 1928 году.

«Советской власти
с Поповыми и Эдисонами
от всей души
пролетарское спасибо».

П о п о в А. С. (1859—1905) — замечательный русский электротехник, изобретатель радиотелеграфа.

Э д и с о н Т о м а с А л ь в а (1847—1931) — знаменитый американский изобретатель.

РАЗГОВОР С ТОВАРИЦЕМ ЛЕНИНЫМ

Написано в январе 1929 года и напечатано в газете «Комсомольская правда», в номере, посвященном пятилетию со дня смерти Владимира Ильича.

УРОЖАЙНЫЙ МАРШ

Написано в феврале 1929 года.

«...с трехножкой

покончим навсегда».

Т р е х н о ж к а — применявшаяся в России до революции трехпольная система земледелия.

КЕМ БЫТЬ?

Поэма для детей, написанная в 1929 году.

СТИХИ О СОВЕТСКОМ ПАСПОРТЕ

Написано весной 1929 года в связи с последней поездкой Маяковского за границу, в Париж. Напечатано после смерти Маяковского в журнале «Огонек» (№ 12, 1930).

«Сдают паспорта,
и я сдаю
мою
пурпурную книжицу».



Маяковский говорит о красной обложке советского паспорта, который выдается гражданам СССР, едущим за границу.

«С почтением
берут, например, паспорта
с двухспальным
английским левом».

На английском заграничном паспорте изображен щит, который подерживают с обеих сторон единорог и лев.

ПЕСНЯ-МОЛНИЯ

Написано в августе 1929 года ко дню закрытия Первого всесоюзного пионерского слета.

СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

Написано в 1930 году.

«...подметают бульвары
клёшами».

Клёш (от франц. cloche — колокол) — форма брюк, первоначально принятая во флоте; впоследствии фасон «клёш» получил большое распространение среди хулиганящей молодежи.

ПОЭМЫ

ОБЛАКО В ШТАНАХ

Над этой поэмой Маяковский начал работать осенью 1914 года и закончил ее летом 1915 года. Осенью 1915 года поэма была издана О. М. Бриком. Царская цензура изъяла в этом издании много мест поэмы, заменив их точками. По словам Маяковского (в автобиографии): «Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц 6 сплошных точек».

О возникновении заглавия Маяковский рассказывал в своем выступлении на вечере в Доме комсомола 25 марта 1930 года: «Облако в штанах»... сначала называлось «Тринадцатый апостол». Когда я пришел с этим произведением в цензуру, то меня спросили: «Что вы, на каторгу захотели?» Я сказал, что ни в каком случае, что это никак меня не устраивает. Тогда мне вычеркнули шесть страниц, в том числе и заглавие. Это — вопрос о том, откуда взялось заглавие. Меня спросили: как



я хочу соединить лирику и большую грубость? Тогда я буду, если хотите, как бешеный, если хотите, буду самым дурным, не мужчина, а облако в штанах». Эта книжка касалась литературы, тогдашних писателей, тогдашней религии, и она вышла под таким заглавием. Люди почти не покупали ее, потому что главные потребители стихов были барышни и барыни, а они не могли покупать из-за заглавия. Если спрашивали «Облако», у них спрашивали: «В штанах?» При этом они бежали, потому что нехорошее заглавие».

Маяковский считал эту поэму своей программной вещью для того времени. В предисловии ко второму изданию поэмы, вышедшему в 1918 году, Маяковский писал: «Облако в штанах» (первое имя: «Тринадцатый апостол» зачеркнуто цензурой. Не восстанавливаю. Свылся) считаю катехизисом сегодняшнего искусства. «Долой вашу любовь», «долой ваше искусство», «долой ваш строй», «долой вашу религию» — четыре крика четырех частей. Долг мой — восстановить и обнародовать эту искаженную и обезжаленную дореволюционной цензурой книгу».

Уже первое издание поэмы вызвало восторженные отзывы поэтов и некоторых критиков. Алексей Максимович Горький был потрясен силой поэмы, которую Маяковский читал ему еще до ее напечатания. Весной 1915 года Горький выступил со статьей, защищающей Маяковского от нападок буржуазных критиков. В следующем году Горький выпустил в издательстве «Парус» первый сборник стихов Маяковского — «Простое как мычание».

«Я над всем, что сделано,
ставлю «nihil».

Nihil (лат.) — ничто. Отсюда и слово «нигилист», возникшее в России в 60-х годах.

«Городов вавилонские башни,
возгордясь, возносим снова,
а бог
города на наши
рушит,
мешая слово».

По библейскому преданию, в древнем Вавилоне люди задумали построить башню, упирающуюся в небо. Бог разгневался и заставил людей разговаривать на разных языках. Люди перестали понимать друг друга, и башня осталась недостроенной.

«...нухлые taxi и козлявые пролетки».

Taxi — такси, наемные автомобили.

«...в хорах архангелова хорала...»

Хорал — музыкальная пьеса религиозного содержания.

«Гримируют городу Крупны и Крушники
грозящих бровей морщ».

Крупны — немецкий капиталист, создатель крупнейших сталелитей-

ных и пушечных заводов, поставлявших оружие не только Германии, но и другим империалистическим государствам.

«Молить о гимне,
об оратории!»

Оратория — музыкальное произведение, написанное для совместного исполнения оркестра и хора.

«Я,
златоустейший...» —

словообразование от имени христианского проповедника Иоанна Златоуста, прозванного так за свое красноречие.

«...сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!»

Заратустра — мифический основатель религии древнего Ирана.

«Мы,
каторжане города-лепрозория...»

Лепрозорий (от лат. *lepra* — проказа) — убежище для прокаженных.

«Это взвело на Голгофы аудитории
Петрограда, Москвы, Одессы, Киева...»

По евангельскому преданию, Христос был распят на холме Голгофе. Маяковский сравнивает кафедры аудиторий с Голгофой.

«А я у вас — его предтеча...»

Предтеча (церк.-слав.) — предшественник, пророк.

«Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!»

Бастилия — парижская тюрьма; была взята восставшим народом в дни Французской революции 1789 года.

ЛЮБЛЮ

Поэма написана в начале 1922 года и вышла отдельным изданием в июле того же года. Поэма построена на фактах биографии Маяковского. Одновременно Маяковский написал свою литературную автобиографию «Я сам».

«Мужчина по Мюллеру мельницей машется».

Мюллер — врач, автор популярных руководств по гимнастике: «Моя система для мужчин», «Моя система для женщин» и др.

«А я —
убег на берег Риона».

Рион — река, на берегу которой стоит город Кутаиси.

«...жарился в кутаисском зное».

С 1902 по 1906 год Маяковский жил в Кутаиси и учился в кутаисской гимназии.

«Меня ж
из 5-го вышибли класса.
Пошли швырять в московские тюрьмы».



Маяковский по окончании 3-го класса кутаисской гимназии в 1906 году уехал вместе с матерью и сестрами в Москву, где поступил в 4-й класс Пятой московской гимназии. 1 марта 1908 года Маяковский был исключен из 5-го класса гимназии за невзнос платы за учебу. 29 марта того же года Маяковский был в первый раз арестован во время обыска в подпольной типографии Московского комитета Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков).

«...учили
в Бутырках».

В своей литературной автобиографии «Я сам» Маяковский пишет: «Меня забрали. Дома нашли револьвер и нелегальщину. Сидеть не хотел. Скандальн. Переводили из части в часть — Басманная, Мещанская, Мясницкая и т. д. и наконец — Бутырки. Одиночка № 103».

1 июля 1909 года Маяковский был арестован за участие в организации побега из Новинской женской тюрьмы и заключен в одиночную камеру Бутырской тюрьмы, где просидел семь месяцев (до февраля 1910 года).

«Что мне тоска о Булонском лесе?!»

Булонский лес — парк в Париже, излюбленное место прогулок «светского общества».

«А я
боками учил географию, —
ведаром же
наземь
ночевкой хлопаюсь!»

Ср. в автобиографии Маяковского: «Возвращаясь в Москву — чаще всего жил на бульварах».

«Мутят Иловайских большие вопросы:
— Была ль рыжа борода Барбароссы?»

Иловайский — автор реакционного учебника истории, принятого в дореволюционной средней школе.

Барбаросса (лат. Barbarossa — Рыжебородый) — прозвище германского императора Фридриха I (1152—1190).

«Меня
Москва душила в объятьях
кольцом своих бесконечных Садовых».

Садовые улицы образуют кольцо вокруг центральной части Москвы. Н. Асеев в своих воспоминаниях «Володя маленький и Володя большой» пишет, что Маяковский рассказывал ему о своей «послетюремной прогулке» по кольцу Садовых.

«...гипербола
прообраза Мопассанова».



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
СОВЕТСКОГО ПЕЧАТНИКА

Маяковский имеет в виду рассказ Мопассана «Идиллия».

«...Хожу
и радуюсь Крезом».

Крез — ставшее нарицательным имя греческого царя, обладателя сказочных богатств.

ПРО ЭТО

Поэма написана в 1922/23 году. Тема этой поэмы — трагическое столкновение большой любви с косностью быта.

«Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды...»

Будда (VI век до н. э.) — основатель религии в древней Индии (буддизм).

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Поэма написана в 1924 году. В своей литературной автобиографии Маяковский писал: «Закончил поэму «Ленин». Читал во многих рабочих собраниях. Я очень боялся этой поэмы, так как легко было снизиться до простого политического пересказа. Отношение рабочей аудитории обрадовало и утвердило в уверенности нужности поэмы». При работе над поэмой Маяковский использовал наряду с сочинениями Ленина ряд книг о его жизни и деятельности. Здесь печатается последняя глава поэмы, описывающая похороны Ленина.

«Живьем
по голову в землю
заканывали нас банды
Мамонтова».

Мамонтов К. — белогвардейский генерал, командир конницы в армии Деникина.

«В паровозных тонках
сжигали нас японцы...»

Японские интервенты сожгли в тонке паровоза 5 апреля 1920 года нескольких коммунистов, в том числе героического руководителя партизанским движением в Сибири Сергея Георгиевича Лазо (1892 — 1920).

«...всё
сквозь газетное ситко
черный
засеял снег».

В день похорон Ленина в Москве были выпущены траурные билеты.

«...несут
с Павелецкого...»

С Павелецкого вокзала в Москве гроб с телом Ленина перевезли в Колонный зал Дома союзов.



«...во всю длину
и Тверской
и Дмитровки»

Тверская (ныне ул. Горького) и Дмитровка (ныне Пушкинская ул.) — центральные улицы Москвы.

«Прощай же, товарищ,
ты честно прошел
свой доблестный путь благородный» —

перефразировка строк революционного траурного марша «Вы жертвою пали в борьбе роковой»:

«Прощайте же, братья, вы честно прошли
Свой доблестный путь благородный».

«Мы сами, родимый, закрыли
орляные очи твои» —

цитата из песни народовольца П. А. Лаврова «Замучен тяжелой неволей».

«...скажут
стрелки на Спасской!»

На Спасской башне в Кремле находятся старинные часы с курантами, исполняющими мелодию «Интернационала».

«По морям,
по морям
нынче здесь,
завтра там» —

припев распространенной в то время песни «Моряк».

«Раз,
два,
три!
Пионеры мы» —

строки из пионерской песни.

ХОРОШО!

Поэма написана Маяковским в течение весны и лета 1927 года к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции.

Маяковский читал поэму 18 октября 1927 года активу московской организации партии в Красном зале МК ВКП(б). Во время своих лекционных поездок по СССР Маяковский неоднократно выступал с чтением поэмы.

В своей автобиографии «Я сам» Маяковский так охарактеризовал поэму: «Хорошо!» считаю программной вещью, вроде «Облако в штанах» для того времени. Ограничение отвлеченных поэтических приемов

ВЫСТУПИТ
ВЛАДИМИР
МАЯКОВСКИЙ

МАЯКОВСКИЙ ХОРОШО!

1. Шалест эдакий.	11. Дам отчество!
2. Не вы!	12. С Димом в Москве и с котом в Думе.
3. Голоса присяжного поверенного	13. Третьяк, Третьяк, страсти нед.
4. Растый чина.	14. Есть революция, а вету масса!
5. Извольте пеналы!	15. Куда вы? В форму или в проформа!
6. Я, товарищи, из военной берды.	16. Да! мерзавцы все в толпой массы!
7. Какие тут временные! славы!	17. Не надо жиды, но надо жиды!
8. Здравствуй Александр Блок!	18. Сперва клику и удрал сапожки!
9. Отдохните отдохните отдохните!	19. Все вы только, ребята мои!
10. Подумайте, что вы делаете тут!	20. Кто здесь до чего дело мерзавцы!

ОТВЕТ НА ЗАПИСКИ И ВОПРОСЫ

БЛЕТАТЫ ПРОДАЮТСЯ. НАЧАЛО В 8 ЧАС ВЕЧЕРА.

Афиша о выступлении Маяковского с чтением поэмы «Хорошо!» (1927).

(гиперболы, виньеточного самоценного образа) и изобретение приемов для обработки хроникального и агитационного материала.

Иронический нафос в описании мелочей, но могущих быть и верным шагом в будущее («сыры не засижены — лампы сияют, цены снижены»), введение, для перебивки планов, фактов различного исторического калибра, законных только в порядке личных ассоциаций («Разговор с Блоком», «Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут»).

«На шею
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...»

Гучков А. И. — крупный московский фабрикант и домовладелец, лидер буржуазной партии октябристов, военный и морской министр в

правительстве Керенского, активный белогвардейский деятель. Умер в эмиграции.

Родзянко М. В. — крупнейший помещик-землевладелец, член партии октябристов. Был председателем IV Государственной думы; после Октябрьской революции эмигрировал за границу, где и умер.

«...из Керенской
тюрьмы-решета».

Керенский А. Ф. — до революции лидер фракции трудовиков в Государственной думе. После Февральской революции был министром юстиции, а затем военным министром, премьером в буржуазном Временном правительстве и верховным главнокомандующим. После победы Великой Октябрьской социалистической революции эмигрировал за границу.

«Царям
дворец
построил Растрелли».

Растрелли Бартоломео (ок. 1700—1771) — знаменитый итальянский архитектор, работавший в России.

«...что в кровати,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный».

Керенский до революции был присяжным поверенным. Став главой Временного правительства, он поселился в Зимнем дворце.

«Глаза
у него
Бонапарты
и цвета
защитного
френч» —

народийная перефразировка двух строк из стихотворения Лермонтова «Воздушный корабль», посвященного Наполеону:

«На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук».

Керенский пытался подражать Наполеону Бонапарту. В 1917 году В. И. Ленин писал: «Министерство Керенского, несомненно, есть министерство первых шагов бонапартизма» (Собр. соч., т. XXI, стр. 60).

«Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...»

Корнилов Л. Г. — белогвардейский генерал. В августе 1917 года начал поход на Петроград, окончившийся полной неудачей. Стоял во главе

так называемой Добровольческой армии. В начале 1918 года армия Корнилова была разбита Красной гвардией и сам Корнилов убит в Бресте под Екатеринодаром.

«...в Лондон,
к королю Георгу».

Георг V — английский король. Временное правительство намеревалось отправить Николая II в Англию.

«...и его
рисуют
и Бродский и Репин».

Бродский И. (1883—1939) — советский живописец, портретист.

Репин И. Е. (1844—1930) — знаменитый русский художник.

«...не спит
мадам Кускова».

Кускова Е. Д. — буржуазная публицистка; активно выступала против советской власти. В 1922 году выслана за границу.

«...Не Эи Милюков».

Милюков П. Н. — историк, до революции приват-доцент Московского университета, лидер монархической партии конституционалистов-демократов (так называемые «кадеты»). Был министром иностранных дел при Временном правительстве. Идеолог империализма, сторонник аннексии Дарданелл.

«Не спится, няня,
Здесь так душно...»

Здесь и до конца главы Маяковский применяет сатирическую перефразировку разговора няни с Татьяной из романа в стихах Пушкина «Евгений Онегин».

«... короновала б
Михаила».

Михаил Романов — брат бывшего царя Николая II. После отречения Николая II русские монархисты хотели возвести на престол Михаила.

«... (в «Селекте» на Лиговке)...»

«Селект» — гостиница в Петрограде на Лиговской улице.

«...ревосходительств...
...ерал
Каледин...»

Каледин А. М. — белогвардейский генерал. В 1917 году контрреволюционные слои казачества избрали его наказным атаманом войска Донского. В 1918 году армия Каледина была разбита красновардейцами, и он застрелился.



«...которые
с Выборгской стороны...»
Выборгская сторона — рабочий район Ленинграда.

«...эту
самую
Александру Федоровну» —
так называл Александра Федоровича Керенского друг Маяковского поэт
Велимир Хлебников. Александра Федоровна — имя бывшей императри-
цы, жены Николая II.

«За Троицкий дули
авто и трамы...»
Троицкий — Троицкий мост в Петрограде.

«В рог
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!»
«Взбунтовавшиеся рабы!» — подлинная фраза Керенского.

«...окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы».

В Зимнем дворце помещалось буржуазное Временное прави-
тельство.
Кексгольмцы — гвардейцы лейб-гвардии Кексгольмского полка.
«Серчают стоящие навловцы».
Павловцы — юнкера Павловского пехотного училища.

«Куда
против нас
бочкаревским дурам?!»

В 1917 году Керенский организовал под командованием М. Бочка-
ревой женский батальон, который выступил на стороне контрреволюции.
«...михайловцы или константиновцы...» —
юнкера Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ.

«— Где Прокопович?
— Нет Прокоповича».
Прокопович С. Н. — член партии кадетов, министр продовольствия
во Временном правительстве Керенского. После Великой Октябрьской
социалистической революции — белоэмигрант.

«Аврорых
башен
сталь».
«Аврора» — крейсер, команда которого с первых дней Октябрьской
революции выступила на стороне большевиков.

«...шарахнули
форты Петропавловки».

Петропавловка — Петропавловская крепость.

«...над ним
путиловец...»

Путиловцы — рабочие бывших Путиловских заводов в Петрограде.

«— Здравствуйте,
Александр Блок».

Блок А. А. (1880 — 1921) — крупнейший поэт-символист, оказавший влияние на Маяковского в ранний период его творчества. В статье, посвященной памяти Блока («Умер Александр Блок»), Маяковский писал:

«Помню, в первые дни революции проходил я мимо худой, согнутой солдатской фигуры, греющейся у разложенного перед Зимним костра. Меня окликнули. Это был Блок. Мы дошли до Детского подъезда.

Спрашиваю: «Нравится?» — «Хорошо», сказал Блок, а потом прибавил: «У меня в деревне библиотеку сожгли».

Вот это «хорошо» и это «библиотеку сожгли» было два ощущения революции, фантастически связанных в его поэме «Двенадцать». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, другие — славу ей.

«Кругом
топула
Россия Блока...
«Незнакомки»...»

«Незнакомка» — заглавие одного из наиболее известных стихотворений Александра Блока (из сборника стихов «Нечаянная радость», М., 1907).

«...ждут по воде
шагающего Христа».

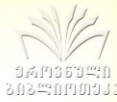
В заключительной части поэмы Блока «Двенадцать» впереди двенадцати красногвардейцев неожиданно появляется Христос. Маяковский соединяет этот эпизод с евангельским сказанием о хождении Христа по водам в Геннисарете.

«Эх, яблочко
цвета ясного».

В эпоху гражданской войны на мотив «Яблочка» распевалось множество частушек, как революционных, так и контрреволюционных.

«Грузят дрова
на трудовом субботнике».

Для борьбы с разрухой в первые годы революции устраивались субботники — дни, в которые трудовое население городов занималось восстановлением заводов и фабрик, разгрузкой товаров на станциях, уборкой улиц и т. п.



«Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?» —

ироническая перефразировка строки из «Горя от ума» А. С. Грибоедова: «И дым отечества нам сладок и приятен», в свою очередь заимствованной из стихотворения Державина «Арфа».

«Из Сюрте Женераль,
из Интеллидженс Сервис,
дефензивы
и сигуранцы...»

Sûreté générale (франц.), Intelligence Service (англ.), defensywa (польск.), siguranta (румынск.) — названия политической полиции и контрразведки в буржуазных странах.

«В Новороссийск
плывут из Марселя,
из Дувра
плывут к Архангельску».

Марсель — французский порт; Дувр — английский. Здесь Маяковский говорит об отправке интервенционных армий: французской — на юг Советской России, английской — на север, в Мурманскую область.

«...Юденича
рати...»

Юденич Н. Н. — белогвардейский генерал. В 1919 году при поддержке англичан дважды пытался захватить Петроград, но был разбит и бежал в Эстонию.

«От севера
идет
адмирал Колчак...»

Колчак А. В. — адмирал. В 1918 году объявил себя верховным правителем (главой контрреволюционного правительства) в Сибири. Вед борьбу с Советами при поддержке французов и англичан. В 1919 году Красная армия разбила войска Колчака, и по приговору военно-революционного суда Колчак был расстрелян.

«...с ним
идут голубые чехи» —

примкнувшие к белогвардейцам чехо-словацкие легионы, составленные из бывших военнопленных.

«Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа».

Врангель Н. Н. — белогвардейский генерал. После ухода Деникина

заял Крым, но в 1920 году был разбит Красной армией и Турцию.

«...ите э лонг уэй
ту Тинперери.
ите э лонг уэй
ту го!»
(«It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go!»)
«Долог, долог путь до Тинперери,
Далеко, далеко нам итти!» —

первые строки английской солдатской песенки, распространенной в период империалистической войны 1914—1918 годов.

«...со своими
подмоченными
«фратерните» и «эгалите»!»

Fraternité, égalité — часть лозунга Французской революции: «Liberté, égalité, fraternité» («Свобода, равенство, братство»), ставшего девизом буржуазной французской республики.

«Янки
дудль
кип ит об,
Янки дудль денди» —

начало шуточной американской песенки «Yankee-Doodle».

«Живу
в домах Стахеева я,
теперь
Везээнха».

Маяковский жил в Москве на Лубянском проезде, в доме № 3, кв. 12, принадлежавшем Высшему совету народного хозяйства.

«Трансваль,
Трансваль,
ты вся
горишь
в огне!» —

слова из распространенной песни, возникшей во время англо-бурской войны и часто исполнявшейся шарманщиками.

«...вокруг
Главтона».

Главтон — Главное управление топливной промышленности при ВСНХ.

«...мы
не Филипповы...»

Филиппов — крупный московский промышленник, до революции — владелец многочисленных булочных и кафе-кондитерских.

«...едят
у Зунделовича».

В доме, где жил Маяковский, была частная столовая.

«...читает
комиссар
мандат Луначарского!»

В первые годы революции нарком просвещения А. В. Луначарский выдавал научным работникам и деятелям литературы и искусства удостоверения для получения предметов первой необходимости.

«...Лилия,
Ося,
я...»

Лилия — Л. Ю. Брик, Ося — О. М. Брик.

«— Куда идешь?
— В уборную
иду.
На Ярославский».

Ярославский — Ярославский (в настоящее время Северный) вокзал в Москве. В описываемое Маяковским время во многих домах не действовали водоснабжение и канализация.

«...боли волжской
я не коснусь».

Маяковский говорит о голоде в Поволжье в 1921 году.

«— Здравствуй, Оля!»

Оля — Ольга Владимировна Маяковская, сестра поэта.

«...бредет
трехверстной Преснею...»

Пресня — Красная Пресня, улица в Москве, где жила семья Маяковского (мать — Александра Алексеевна и сестры — Людмила Владимировна и Ольга Владимировна).

«— Деникин
подходит
к самой
к тульской,
к пороховой
сердцевине».

Деникин А. И. — белогвардейский генерал. После смерти Корнилова, в 1919 году, занял пост главнокомандующего белой армией на юге России и начал наступление на Москву. В октябре 1919 года армия Деникина проникла до Орла, угрожая Туле, но в этом районе Красная армия, следуя плану, выработанному Сталиным, разгромила Деникина и отбросила его войска за Новороссийск. В апреле 1920 года Деникин передал командование Врангелю и эмигрировал за границу.

«Бли-и-и-ако белянькие,
береги кёренки!»

К е р е н к и (или керенки) — название бумажных денежных знаков, выпущенных Временным правительством Керенского.

«...Мамонтова
нагоняеть».

См. примечание к поэме «Владимир Ильич Ленин».

«...из-под пули
Каплан».

Каплан Фанни — член партии эсеров. Совершила злодейское покушение на жизнь В. И. Ленина: 30 августа 1918 года около завода Г. Михельсона она тяжело ранила Владимира Ильича двумя пулями.

«Салоп
говорит
чуйке...»

Салоп — старомодная женская шуба. Чуйка — стеганный пиджак. Так одевались буржуазно-мещанские слои населения, враждебно относившиеся к советской власти.

«Нас не трогайте —
мы
цыпленки».

Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
время,
вашу пасть!»

Здесь Маяковский пародирует известную в то время шуточную уличную песенку:

«Цыпленок жареный,
цыпленок пареный,
цыпленок вышел погулять.
Его поймали,
арестовали,
ведели паспорт показать.
«Я не советский,
я не кадетский.
Меня не трудно истребить.
Ах, пощадите,
ах, не губите.
Цыпленки тоже хотят жить!»

«...Павел Ильич Лавут...»

Лавут П. И. — устроитель вечеров Маяковского в различных городах СССР в 1926—1930 годах.

«Пошла
веселó
к «Алмазу»
моторка».

«Алмаз» — крейсер, на котором Врангель бежал из Крыма, 1920 г.

«...в Дарданеллы узкие...»
Дарданеллы — пролив между берегами Турции. Русские империалисты хотели завладеть Дарданеллами — выходом из Черного моря в Средиземное.

«...плыли
завтрашние галлиполийцы...»

Маяковский говорит о тех остатках белогвардейской армии, которые после бегства из Крыма поселились в турецкой области Галлиполи.

«Од
райт».

Од райт (англ. all right) — очень хорошо, все в порядке.

В своем выступлении в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года Маяковский так объяснил это место поэмы: «Од райт» — два американских миноносца зашли в Севастопольский рейд, увидели, что гонят врангелевцев, и ушли обратно.

«Наши
с песней
идут от Джанкоя...»

Джанкой — небольшой город в степной (северной) части Крыма.

«И с нами
Ворошилов,
первый красный офицер.
...готовы умереть мы
за Эс Эс Эс Эри!» —

цитаты из распространенной в период гражданской войны красноармейской песни «Мы красные кавалеристы».

« — Молодцы венцы.

Суд
жгут.
Зер
гут».

Маяковский упоминает здесь о рабочем восстании в Вене в 1927 году. Восставшие подожгли здание суда.

Зер гут (нем. sehr gut) — очень хорошо.

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

В 1930 году Маяковский задумал написать поэму о пятилетке. «Во весь голос» является первым вступлением в эту поэму, оставшуюся не написанной. 1 февраля 1930 года в Клубе советских писателей была открыта выставка «20 лет работы Маяковского», и на открытии Маяков-

ский впервые прочел «Во весь голос». Выступая в Доме комсомола Красной Пресни 25 марта 1930 года, Маяковский сказал: «Во весь голос» — целиком определяет то, что я делаю и для чего. Очень часто в последнее время те, кто раздражен моей литературно-публицистической работой, говорят, что я стихи просто писать научился и что потомки меня за это взгреют... Я человек решительный, я хочу сам поговорить с потомками, а не ожидать, что им будут рассказывать мои критики в будущем. Поэтому я обращаюсь непосредственно к потомкам в своей поэме, которая называется «Во весь голос».

«Во весь голос» с необычайной силой обобщает весь путь, пройденный Маяковским.

«Я, ассенизатор
и водовоз...»

Этот образ встречается у Маяковского еще в первоначальной редакции поэмы «150 000 000», написанной за десять лет до поэмы «Во весь голос»:

«Я земли вдохновенный ассенизатор».

«Сама садик я садила,
сама буду поливать» —

строки из популярной в старое время песенки.

«...кудреватые Митрейки,
мудреватые Кудрейки...»

Митрейки К. и Кудрейко А. — авторы нескольких книг стихов.

Книжку стихов Кудрейко Маяковский читал и отметил в ней подчеркиванием и вопросительными знаками неудачные строки.

«Тара-тина, тара-тина
т-эн-и...» —

намек на стихотворение Сельвинского «Цыганский вальс на гитаре», где есть строки:

«И доносятся толико стоны гитта-оры —
Таратинна-таратинна-тан».

«...не как доходит
к нумизмату стершийся пятак...»

Нумизмат — собиратель и исследователь старинных монет и медалей.

«...как в наши дни
вошел водопровод,
сработанный
еще рабами Рима».

Водопроводы (так называемые акведуки), построенные в Риме в I веке н. э., уцелели до наших дней.

«Из Леты
выльзвут
остатки слов таких...»

Лета — мифологическая река забвения (по поверьям древних греков).

КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ

Статья написана Маяковским в 1926 году (см. комментарий к стихотворению «Сергею Есенину») и в 1927 году вышла отдельным изданием.

Рап — РАПИ, Российская ассоциация пролетарских писателей, ликвидированная постановлением ЦК ВКП(б) в апреле 1932 года.

«Разочарованный лорнет», «Наука, которую воспел Назон», «Мой дядя самых честных правил» — строки из «Евгения Онегина» Пушкина. Шенгели Г. — стиховед, автор руководства «Как писать статьи, стихи и рассказы» (4-е изд., М., 1927) и полемической брошюры «Маяковский во весь рост» (М., 1927).

Бродовский М. — автор элементарного «Руководства к стихосложению» (Спб., 1887).

Греч Н. И. — автор «Учебной книги русской словесности» (Спб., 1844).

Абрамов Н. — автор двух популярных руководств для начинающих стихотворцев: «Искусство писать стихи» (Спб., 1910) и «Полный словарь русских рифм» (Спб., 1912).

«Мы стали злыми и покорными...» — цитата из стихотворения Зинаиды Гиппиус «Сейчас».

Маяковский цитирует стихотворение по памяти. В подлиннике текст четверостишия иной:

«Мы стали сами подзаборными.
Не уподзти!
Уж разобрал руками черными
Викжель пути».

Гиппиус З. — поэтесса-символистка. После Великой Октябрьской социалистической революции — белоэмигрантка.

Викжель — возникший после Февральской революции Всероссийский исполнительный комитет союза железнодорожников.

«Революционный держите шаг!» — строка из поэмы А. Блока «Двенадцать».

«Разворачивайтесь в марше!» — первая строка стихотворения Маяковского «Левый марш».

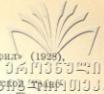
«Неугомонный не дремлет враг» — из поэмы А. Блока «Двенадцать».

«Ешь ананасы...» — двустишие, написанное Маяковским в конце 1917 года.

«Выхожу один я на дорогу...» — стихотворение Лермонтова.

Крученых А. Е. — поэт-футурист, литературный соратник Маяковского в 1912—1916 годах.

Рифмы, упоминаемые Маяковским, были применены в следующих



стихотворениях: «Две Москвы» (1926), «Без руля и без ветрил» (1928), «Тропики» (1926).

«Хат хардет хена» — Маяковский неточно передает в русской транскрипции строку из американской джазовой песенки «Жестокая Анна»:

«Hard hearted Hannah.
The vamp of savannah».

Темы, намеченные Маяковским, были развернуты в его стихотворениях: «Заграничная штучка» (1929) и «Парижанка» (1929).

Примеры рифм и образов взяты Маяковским из следующих его произведений:

из стихотворения «Из улицы в улицу» (1913): «Улица. Лица у»;
из стихотворения «Утро» (1912): «Угрюмый дождь скосил глаза»;
из трагедии «Владимир Маяковский» (1913): «Гладьте сухих и черных кошек»;

из «Левого марша» (1918): «Левой. Левой»;

из стихотворения «Юбилейное» (1924): «Сукии сын Дантес».

«Году в тринадцатм, возвращаясь из Саратова...» — Маяковский был в Саратове не в 1913 году, а в марте 1914 года.

«В тот день тебя от гребенок до ног...» — цитата из стихотворения Бориса Пастернака «Марбург», приведенная Маяковским по памяти и поэтому неточная.

Правильный текст строфы:

«В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспинову,
Носил я с собою и знал назубок,
Шатался по городу и репетировал».

«Милый, милый, смешной дуралей...» — из поэмы Сергея Есенина «Сорокоуст» (1920).

«Небо — колокол, месяц — язык» (правильно: «Небо как колокол, месяц — язык») — из поэмы Сергея Есенина «Иорданская голубица» (1918).

«Апология «коровы» — намек на теоретическую статью Сергея Есенина «Ключи Марии» (1920).

«Имажинизм» (от франц. image — образ) — литературная школа, существовавшая в 1919—1924 годах (Есенин, Шершеневич, Мариенгоф и др.). Имажинисты утверждали, что важнейшая задача поэзии — создание новых образов.

«В этой жизни умирать не ново» — цитата из предсмертного стихотворения Сергея Есенина (см. комментарий к стихотворению «Сергею Есенину»).

«Изречение Луки» — из пьесы Горького «На дне».

«Неделя» — повесть Ю. Либединского из эпохи гражданской войны.

«Я — пролетарская пушка» — строка из стихотворной пьесы рабкора

Грина «Карманьола», напечатанной в «Литературно-художественном сборнике рабочих корреспондентов Хамовнического района» (М., 1924).

«Радимовские поросята» — стихотворения П. Радимова, посвященные изображению крестьянской жизни; написаны размерами, имитирующими древнегреческие.

«Вы жертвою пали в борьбе роковой» — строка из революционного траурного марша.

«Отречемся от старого мира» — строка из русской революционной песни, написанной на мотив «Марсельезы».

«Ведный конь в поле пал» — из либретто Розена к опере Глинки «Иван Сусанин» (ария Вани).

«Улица —
лица у догов годов рече...» —

из стихотворения Маяковского «Из улицы в улицу» (1913).

«Железный пахарь» — поэма И. Доронина (см. комментарий к стихотворению «Сергею Есенину»).

«Мы ветераны, мучат нас раны» — перефразировка строк из поэмы Эмиля Верхарна «Мор» в переводе Валерия Брюсова:

«Матушка смерть! Это мы — ветераны
Старые, дряхлые, мучат нас раны».

«Магия слов» — полемическое упоминание о книге поэта-символиста Бальмонта («Поэзия как волшебство», М., 1915), в которой Бальмонт пытался доказать, что каждый звук языка имеет свое смысловое и чувственное значение.

«Быть может, все в жизни лишь средство
Для ярко-певучих стихов.
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов» —

из программного стихотворения Брюсова «Поэту» в сборнике «Пути и переулочки», т. III (М., 1909).

«Я вольный ветер, я вечно вею,
Волную волны...» —

из стихотворения К. Бальмонта (сборник стихов «Тишина», Спб., 1898, стр. 29).

«Шибанов молчал. Из прозенной ноги...» — из стихотворения А. К. Толстого «Василий Шибанов».

«Довольно. Стыдно мне...» — из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (обращение Лжедмитрия к Марине Миншук).

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Кассиль. Владимир Маяковский (биографический очерк)	3	Последняя страничка гражданской войны	82
<i>СТИХОТВОРЕНИЯ</i>			
А вы могли бы?	47	О дряни	84
— Вывескам	—	Стихотворение о Мясницкой, о бабе и о всероссийском масштабе	86
Кое-что про Петербург	48	Приказ № 2 армии искусств	88
Послушайте!	—	Прозаседавшиеся	91
Скрипка и немножко нервно	50	Париж	94
Гимн судье	51	Мы не верим!	98
Гимн ученому	52	Весенний вопрос	100
Гимн обеду	53	Воровский	104
Военно-морская любовь	54	Комсомольская	105
Мое к этому отношение	55	Юбилейное	109
Последняя петербургская сказка	56	Севастополь — Ялта	119
Наш марш	57	Владикавказ — Тифлис	121
Хорошее отношение к лошадям	58	Тамара и Демон	125
Ода революции	61	Баку	129
Приказ по армии искусства	62	Что такое хорошо и что такое плохо	131
Левый марш	64	Прощанье	135
С товарищеским приветом — Маяковский	66	6 монахинь	136
Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче	67	Блэк энд уайт	138
Гейнеобразное	72	Тропики	142
Отношение к барышне	—	Мексика	143
Рассказ про то, как кума о Врангеле толковала без всякого ума	73	Бродвей	153
История про бублики и про бабу, не признающую республики	78	Бруклинский мост	157
Красный еж	79	Домой!	162
Владимир Ильич!	—	Сергею Веснину	165
		Разговор с фининспектором о поэзии	171
		Товарищу Нетте, пароходу и человеку	179
		Разговор на Одесском рейде	181
		Нашему юношеству	182
		Корона и кепка	188

26462



ქართული
ბიბლიოთეკა

1893



1930

